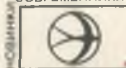


РАІ 1501512

СОВРЕМЕННОСТИ



СЕРГЕЙ
ВИКУЛОВ

**РАЗГОВОРЫ -
- РАЗГОВОРЫ...**





Вологодская областная
универсальная научная
библиотека им. И.В.Бабушкина

КАР из Библиотеки
Оботурова В. А.





НОВИНКИ · СОВРЕМНИКА ·

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

РАЗГОВОРЫ -
РАЗГОВОРЫ...

РАС 1501512

*Василию Александровичу
Стихотворения
и поэма*

Оботурову -

*самому лучшему поэту
и доброжелателю
моему моему издате-
лю и критику - с
благодарностью!*

«Современник»
Москва · 1985

Сергей Викторович

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. И. В. Бабушкина

Викулов С. В.

- B43 Разговоры-разговоры: Стихотворения
и поэма.— М.: Современник, 1985.—
159 с., ил. — (Новинки «Современника»).

В пер.: 80 коп.

Новая книга лауреата Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького Сергея Викулова продолжает главную тему его творчества — северно-русская деревня от первых послевоенных лет до наших дней. В стихах этой книги и в поэме «Костры на ветру» он говорит об одной из острейших проблем современной деревни — пьянстве и алкоголизме, глубоко вникает в нравственную сторону взаимоотношений между землей и человеком, ратует за престижность древнейшей на земле профессии хлебороба.

В 4702010200—372 155—85
М106(03)—85

ББК84P7
P2



**СНОВА
Я ДОМА**

ПЕТУХОВА ПОБУДКА

Видно, попутные дули ветра:
снова в деревне я, снова я дома.
Тетка, готова ночлег мне,
матрац
туго набила ржаной соломой.
Полог раскинула: «Есть комары».
И удалилась с повети, добавив:

«Вижу, измаялся... Спи до поры.
Ни тракторов тут у нас, ни комбайнов.
И ни гармоней былых — тишина,
и ни припевок — не прежнее дело.
Девкам чужая милей сторона:
в город бы — мода у нынешних девок».

Мне не впервой на крестьянских дворах
спать-ночевать. Поворочавшись малость,
поразмышляв о последних словах
тетки,
заснул я: сказалась усталость.

Утром
на лучшей из лучших «перин»
я пробудился под песнь «ку-ка-рё-ку!»
Здорово!
Видимо, знал, что творил,
бог, подарив петуха человеку!

Знал, что рассветная эта пора —
самая важная, может быть, в сутках
для мужика.
И должна быть бодр
и весела петухова побудка.



В страдную пору сохи да косы
драли исправно луженые глотки
самые древние в мире часы,
в перьях, без всякой пружинной заводки.

«Ку-ка-ре-кú!» («Просыпайся, глухой!»)
«Ку-ка-ре-кú!» («Неужель ты не слышишь?»)
Нет! И гремело опять под стрехой:
«Ку-ка-ре-кú!» — только нотою выше.

И поднимался мужик и бежал
на поле, не ожидая наряда...
Нет, он не зря петуха содержал
и уважал, проживая с ним рядом.

...Тетка в своем пятистенке одна:
не с кем ни молвить словечко, ни охнуть.
— Ну тишина тут у вас!
— Тишина, —
тетка вздыхает. — Без певуна,
инда подумаешь, можно оглохнуть.
Радио тоже (упали столбы)
не *горготит* полтора уж годочка.
— Что ж не поднимут?
— Деревня кабы...
А у меня — «персональная точка».

Так что певун — и часы, и оркестр
тетке твоей: ублажает старушку.
Вечером — с курами он на насест,
следом и я головой на подушку.
Утром картошки ему покрошу,
да геркулеса, да проса прибавлю...
Туго придется —
овец порешу,
а певуна непременно оставлю!

ХЛЕБ ПОБЕДЫ...

Крошки в ладошку смела со стола
и начала:

— Значит, просишь поведать,
как она, господи боже, Победа
встречена в нашей деревне была?

— Да, если помните...

— Все, как сейчас...

Много чего позабыла, а это...

Слушай же...

Мы на дворе с Лизаветой,
помню, коров обряжали как раз.
Дедко Савелий как раз приволок
с дальнего поля соломы телегу.
Конь чуть не падает:
ясно, по снегу
легче бы, сам понимаешь, милок...
Да не успели: одни ведь гужи
на три двора. И не лошадь — а кляча.

Смотрим,
Митяй, спотыкаясь и плача,
к нам, Лизаветин сынишка, бежит.

— Че там?—
встревожилась Лиза (она
дома одних оставляла детишек).

— Мамочка-а!

Кон-чи-ла-ась!

Кон-чи-ла-ась, слышишь?..

Ко...— и в подол ей уткнулся:—

...война!

— Кто тебе?
— Радио!— Митька в ответ.
Верить ли?
Вилы уткнули в солому
и, как нахлестаны, бросились к дому.
К дому... А люди бегут в сельсовет.
«Слышал?»— друг другу кричат на ходу.
«Врут ведь поди-ко...»—
«Да нет, не должно бы...»

Был он — не помню такого — особый,
этот денек в сорок пятом году.
Лес оживал.
Пробивалась трава...

А Чужгина — председатель правленья,—
речь не умея сказать от волненья,
произносила с крылечка слова:
— Кончилась!
Кончилась, вам говорят!!!
— Может, ошиблась?— кричали иные.
— Нет, не ошиблась...
С победой, родные!—
И замерла.
И потупила взгляд.
Вспомнила, видно, нехстати:
вдова.
Сироты — точно теперь уже —
детки.
И затряслась на плече у соседки
неудалая ее голова.
Господи, что тут тогда началось!
С матерью дочка, с подругой подруга,
с бабушкой внук, обнимая друг друга,
все завопили...

Люди, поди-ко, ликуют
всюду, а мы *поревушку* такую
задали...

Бабы, не стыдно ли нам?
Вспомнили, кто не дождался кого —
и хорошо... И уймись! Не дети.
День ведь Победы!
И надо отметить
радостью: сколько мы ждали его?!

— Надо отметить... Но как?
Просвети,
Анна Васильевна, нас бестолковых,
коль молочишко в дому
да морковный
чай...
А в столе — хоть шаром покати!

Я обернулась, чтоб было слышней:
думаю, кто там... О боже, да это
Лиза, подружка моя Лизавета,
и ребятишки — все трое — при ней.

— Как?— поглядела с крыльца Чужгина.—
Хлебом детишек накормим!
И этим
праздник отметим!
Чтоб помнили дети,
как она кончилась, эта война.

Ну, а увидеть счастливых детей,
сытых...— она помолчала устало.—
Праздника лучше вовек не бывало,
да и не будет для нас, матерей!

...Помню, с каким мы стараньем пекли
те, из остатней муки, караван:
печки — не рано ль — с оглядкой
скрывали,
чтобы они подгореть не могли;
под заматали сырым помелом,
ни угольков, ни золы чтобы лишних...
И — заглядение — хлебушки вышли!

Ну, а назавтра за общим столом
и собрались они, наши худышки.

Не выбирая получше местá,
девочки, мальчики рядышком сели:
острые плечики, тонкие шеи,
и потому — велики ворота.
Руки на стол положили и ждут,
вертят зрачками' в белках синеватых...
— Ешьте,— сказала им Анна,— ребята!
Досыта ешьте, еще принесут.

Приподнялись, изготовясь к броску,
молча седьмую слюну проглотили
и, оглянувшись на Анну, схватили
с жадностью в обе руки по куску.
Заторопились:

из правой руки,
не прожевавши, из левой кусают...
Взгляды же в сторону нашу бросают,
хлеб уминая за обе щеки.

Вдруг со скамейки

клопышка одна
встав — со столешницей вровень
росточек,—
к нам подбежала и хлеба кусочек
сунула матери: «Мамочка, на!»

Та ее на руки — и обнимать,
и целовать, умываясь слезами:
— Вспомнила...
Вспомнила, гли-ко, о маме!—
И задохнулась от радости мать.

А за клопышкою вслед, гомоня,
тоже вскочили —
и к нам наши дети.

Матери,
мы не забудем до смерти
праздника этого, этого дня!

Что тебе купить?

— ...А мы, с войны пришедшие солдаты,
мы хорошо запомнили две даты:
во-первых, это день девятый мая,
тот самый долгожданный день, когда
закончилась вторая мировая,
ну а для нас — кровавая страда.

Мы вылезли из танков, из окопов:
за нами, оглянулись,— пол-Европы!
И белый плеск «знамен»
с перил балконных...
Немало с той поры минуло лет,
но День Победы помним мы!
Как помним
и день отмены карточек на хлеб.

...В канун, должно, работали пекарни
всю ночь.

И вот с утра прибег я с парнем,
сыном

— ему тогда годочков восемь,
пожалуй, было...

Хлеба — завались!

А грузчики, глядим, еще подносят...

И вот мы до прилавка добрались.

— Ну, сколько вам?— спросила Кузьминишна.

— Две,— говорю ей,— две... не будет лишка.—

Не верю в счастье, брат ты мой, робею,

нежданную смахнул слезинку с век...

И чувствую себя я перед нею

как попрошайка, нищий человек.

Сую бумажку: — Две... не будет лишка.—
И слышу, что-то шепчет мне сынишка
и дергает тайком за край одёжки:
— Ой, пап! Ну, пап, купи еще одну!—
Трепещет весь, как воробей у крошки:
наголодался с матерью в войну.

И я обрел себя. Картуз на ухо:
— Ну что тебе еще купить, Колюха?
Вон пряники, конфетки...
На потребу
тебе и Ваське с Нинкою как раз...
Давай решай!—
А он в ответ мне:
— Хлеба!—
с буханок не сводя голодных глаз.

— Ну вот какой ты глупый...
Хочешь сушки?
Вон — кругленькие... Или же игрушки
посмотрим... Ну-ка! Эх, такие мне бы
тогда, когда я бегал в первый класс!
Так что тебе купить, сыночек?
— Хлеба!—
сказал он, не сводя с буханок глаз.

Я растерялся:
— Экой ты упрямый!
А хочешь карандаш, красивый самый?..
Не хочешь? Зря! Завидовали все бы!
Я, батька твой, такого не имел...
Так что ж тебе купить-то, парень?
— Хлеба!—
сказал он в третий раз.
И заревел.



С тех пор живет в душе моей забота,
когда наступит время обмолота.
Посматриваю часто я на небо,
на ржи, на ячменя́ вокруг деревень...
И вспоминаю:
«Хлеба!.. Хлеба!.. Хлеба!»—
сыночка просьбу
в праздничный тот день.

Возле дома, на скамейке

— Здравствуй, бабуля!

— Здорово, сердешный!

Чей ты? Узнать-то тебя не могу.

— Да не узнаешь...

В гостях я, не здешний.

Вот в магазин за буханкой бегу.

Ушку сварганил: поудил немного...

— Есть ли хоть рыбка-то?

— Рыбки полно!

— Как ты меня-то заметил с дороги?

— Да не сегодня заметил — давно.

Всё ты сидишь на скамейке у дома,
в поле глядишь, подперевшись рукой...

Не завелось ли чего-то худого,
думаю...

Мало ли... возраст такой...

Думаю, дай-ка ее я спытаю:

может, нужда...

— Да какая нужда!

Я тут не просто сижу —

я летаю,

милой ты мой, в молодые года,
жизнь вспоминаю...

Дивлюся порою:

господи, кем только я не была!

Девкой, невестой, женою, вдовою,
матерью...

Шила, варила, мела...

Бабьим делам ни конца и ни края...

Но ни одно не валилось из рук!

Мало! И лошадью — тоже была я,
в борону, помню, впрягалась
и в плуг.
Лямку на грудь —
и по семь да по восемь —
в борозду:
«Эй, пристяжные, ровней!» —
шутим, бывало, сквозь слезы
и просим
бога, чтоб нам возвратил лошадей,
и мужиков, и парней —
отгремела,
отпыхала война-то: пора...

Мельницей — тоже была я:
вертела
жёрнов в глухом закуточке двора.
Да и другие...
Под каждую крышей
меленки пели на сорок ладов...
Я и теперь еще вроде бы слышу
музыку эту военных годов.

Помню, достанешь лепешки из печки —
сыплются: мучка с травой пополам.
«Ешьте, ребята!» —
Фуфайку на плечи
и на своих на двоих — по полям!

Утром я — жатка,
в обед — молотилка,
а через день — все работы подряд —
стогометатель я,
льнотеребилка,
да и доильный к тому ж аппарат.

**Вот я теперь и гляжу на поля-то,
и вспоминаю...**

— А сколько вам лет?

— Сколько?..

Да вроде бы семьдесят пятой...

**Все собираюсь зайти в сельсовет:
пусть по бумагам взглянут...**

— А хотите,

я вам на ушку плотвы наловлю?

**— Что ты! Не надо, мой ангел-хранитель,
пензия скоро: консервов куплю.**

Воспоминания о весне 1947 года

Солнечно. Снег ноздреватый и старый
тает, как будто горит.
Лес, на ветру разминая суставы,
черный покуда стоит.

Сосны кой-где зеленеют да елки.
Влагой вскипают ложки.
Русские бабы разбитым проселком
тащат на спинах мешки.

На лошадях бы в такую дорогу —
пусть отдыхают пока...

Ждали:

придут мужики на подмогу —
два лишь пришли мужика.

— Ох, упаду я, наверно, Анютка,
в глазыньках стало темно...—

Русские бабы

в дырявой обутке
тащат на спинах зерно.

(Груз дорогой был доставлен на пристань
с первым гудком на реке.)

Верст шестьдесят до колхоза —

даже когда налегке... не близко,

— Горстку сжевать бы...

Ты слышишь, Елена?
Горсть?..

Не забылось

Вся в поту, в пыли, простоволоса
(кожа облупилась на носу),
Анна в этот вечер с сенокоса
поздно приплелась — в восьмом часу.

Дочь,

что отсидела день в конторе,
встретила Анюту у ворот:
— Горе мне с тобой, маманя, горе!—
Подала напиток: — Ну, народ!..
Эдак хрястать! Эдак убиваться
Из-за чашки-кружки молока!
Вспомни, ведь тебе давно не двадцать...
Пенсия — пускай невелика —
у тебя...
— Какую заслужила!
— Так скажи — поможем! Ты же мать...

Руки на колени, как чужие,
бросила:

— Не надо помогать!
Я еще сама могу. Не надо!
Для тебя обуза — скот держать,
ну, а для меня большая радость
сена Кукле с вечера задать.
Да притом хорошего, какое
я гребла сегодня на лугу...
Нет уж, дочка жить, как ты, в покое,
извини меня, я не смогу.
Ты, коль речь заходит о корове,
нос воротись в сторону: навоз!

Да и запах, вредный для здоровья,
да и дуrolомный сенокос...
Ну а я, когда скажу «корова»,—
пред глазами девочка одна
с полной кружкой теплого, парного...
Только год, как кончилась война.
Голод. Хлеба в доме ни кусочка.
Девочка, весь день возле стола,
плачет: «Мама, хлеба!»
Слышишь, дочка:
девочкою этой ты была!

Если б не коровушка в ту пору
(я-то знаю это, я ведь — мать!),
нашему с тобою разговору,
как сейчас, вовеки б не бывать!
Так что закрывай свое собрание,
душу не трави зазря мою...
Лучше полежи вон на диване,
я тем часом Куклу подою!

По дороге из сельмага

Полдень. Жарко. Из сельмага
в синей кофте продувной
волочется, вижу, баба
с полной сумкой за спиной.

Динка с Линкою напару
ей навстречу. Шутят так:
— Дефицитного товару,
знать, подбросили в сельмаг?

Изогнула баба брови,
рукавом — со лба росу.
— Что вы! Это я корове,
девки, хлебушка несу.
— Вторник, что ли, нынче?
— Вторник...—

И пошла. А ей вослед:
— Хлебом, значит, Зорьку кормишь?
— Хлебом, девки: булок нет.

Знать припрятала нахалка
под прилавок калачи...

Ох, буханки... ну, буханки!
Не буханки — кирпичи!

Чем она прославилась

Моя деревня умерла.
Моя деревня похоронена.
Там, где она свой век жила,
земля распахана была,
распахана и заборонена.

Снялись навеки с той земли
и, скрипнув, улетели стаями
колодезные журавли;
сады над речкой отцвели,
дымы над крышами растаяли.

Ни памятника, ни креста —
голо́ на месте погребения.
Обозначают те места
смороды черной два куста,
рябина да береза белая.

Не в сказке — было наяву —
под ней солдатки горько плакали.
Клонили некруты главу,
и слезы девичьи в траву
при расставанье с ними капали.

В разлуке им еще родней
была береза подоконная:
солдаты помнили о ней...
Как и она бессчетно дней
в войну о них, конечно, помнила.

На улице-посаде

На улице-посаде
совхозного села
построили мы домик —
веселые дела!

Он встал до неба, белый.
Любуется народ:
— Глядите-ка, глядите,
не дом, а пароход!
И в самом деле был он
на пароход похож:
плывет — а справа-слева
то лен в цвету, то рожь.

А наравне и выше —
одни лишь облака.
Плывет наш дом, на избы
взирая свысока.

Плывет по перелескам,
равнинам и горам...
Пять застекленных палуб
открыты всем ветрам.

Плывет веселый, звонкий,
набит народом всклень
из двадцати окрестных
пропащих деревень.

И слышно, тянут хором,
особенно «верхи»:
— Прощайте, вы, коровы,
и куры-петухи!

Теперь ни «ку-ка-рэ-ку!»
и ни коровье «му»
нас утром не разбудит:
живем в большом доме,
где все, как говорится,
на лад городской...

Из этого бы дома
да поскорей домой!

О любви к земле

Учителя в гостях у знатного хлебороба

— Здравствуйте, Федор Иванович!—
Сели,
на пол тугие поставив портфели
(таял снежок, что прилип к рукавам)...—
— Федор Иванович, мы бы хотели...—
начали робко,— на этой неделе...
Федор Иваныч! Мы с просьбою к вам.
Вы, как никто, знамениты в районе!

— Ну, о районе не ведаю я...
В поле же, правильно, каждой вороне
летом знакома фуражка моя.

— Федор Иваныч! Вас знают и в школе!
Вы бы наведались к нам как-нибудь
и о своей земледельческой доле
порассказали ребятам чуть-чуть...
Встретим — и не поскупимся часами:
два отведем, три урока подряд!
Ну научите же наших ребят
землю любить, как вы любите сами!

— Так... интересно...— поскреб в бороде,
низко склонясь головою седою.—
Можно ль,— вдруг резко спросил,—
не в воде,
плавать учить — только рядом с водою?..

— Нет...— говорят.

— Ну, а вы от меня
именно этого, вижу, хотели б...

О председателе

...— Сколько их было у нас,
председателей?
Много!
Всех и не вспомню, наверное:
стал стариком...
Первого ставили сами —
Смирнова Серегу...
Шилова — тоже...
А Цыпкина — ставил райком.

Вроде мужик как мужик —
ничего...
Руки, ноги...
И голова, как у всех,
при себе, на плечах.
Квартировал.
Тосковал.
Из района подмоги
все ожидал...
И заkis постепенно.
Зачах!

Пятый
в делах разбирался
не лучше барана:
канцелярист!..
Ну, а пуще еще потому,
что и глядел-то на все
через донце стакана,
а мужики — не хитро!;—
подражали ему.

В общем, не счесть,
сколько было их,
перебывало...
Если кого пропустил,
то прошу извинить.
Я так кумекаю:
быть председателем —
мало,
надо при этом еще
и хозяином
быть!

Вроде бы
нет между ними
большого деленья.
Но, приглядысь,
замечал не однажды народ:
этот исправно
ведет заседания
правленья,
речи толкает,
а этот —
хозяйство ведет.

Знали такого и мы —
посчастливилось: знали!
«Кто он?» — пытаешь.
Да кто... Из своих мужиков.
Звали его...
Да Арсентьичем попросту звали.
Мы, до войны,
семилетку с ним вместе
кончали
да под ружьишком отбухали
по семь годков.

Фронт — академия,
знаешь, конечно, какая...
Выжил, вернулся:
«Эй, matka-земля, я иду!»
Каждой былинкой
была она нам дорогая,
поистощавшая,
в том, сорок пятом, году.

Как нам хотелось
своими — живыми! — руками
matку свою обласкать,
накормить, напоить.
Камень
под плуг подвернулся —
убрать этот камень,
деревце
в силу вошло не на месте —
срубить!

Ясно, бывало,
что кто-то возьмет
и схалтурит...
Ну, а Арсентьич,
мотаясь в страду по полям,
все ж углядит.
Остановится, брови нахмурит
и на межу —
пусть глядят! —
камень выкатит сам!

Сладить не мог
со своею крестьянской натурой.
Верил не в слово,
а в совесть
и в личный пример.

Но и с того,
кто работал лениво,
с натугой,
шкуру спустить,
откровенно признаться,
умел.

Травы поспеют, бывало,
и все —

честь по чести —
выйдем в луга мы:
страда! Заготовка кормов!
Звон-перезвон!
А душа у людей не на месте:
нет ни волотки покуда
для личных коров.

Тут-то наш пред
и выносит решение правленья:
дать покосить по себе
(например, до среды).
Если же кто и в четверг
позамочит колени
частной росой —
тому
не убраться беды!
Были, конечно,
и жарче истории... Что ты!

...Негде ступить—
народилося клюквы в тот год.
Плакались женщины:
«Хоть бы разок на болото!»
Внял председатель.
Дошел и до клюквы черед.

Выданы были народу
три — полных — денечка.
Брат же его
прихватил и четвертого дня...
Встретил «героя» Арсентьич
возля отводочка,
встал на дороге:
«Пошто ты позоришь меня?
Скинь-ко лишки-то—
устал, притомился, поди-ка...—
Этак спокойненько,
слышим, ему говорит.—
Завтра-то как?
За брусникой?..
Поспела брусника.
Так что беги...
А колхоз —
наплевать: не горит!

Ну, а вот эту...—
Он вспыхнул.—
Вот эту заразу!..»—
сделал три медленных шага
к мешкам, матерясь,
сдернул завязки,
поднял над собою
и разом
высыпал ягоды в грязь!

Бабы, конечно, того...
Да и сам я, не скрою,
не пожалеть мужика
в ту минуту не мог,
как во все стороны

брызнула соком,
как кровью,
клюква отборная
из-под сапог.

Слышали мы,
как честил он братана:
«Хапуга!
Пенкосниматель!»
Он правильно ставил вопрос:
ежели все
перестанут стыдиться
друг друга —
это уже не артель,
брат ты мой,
не колхоз.

Трудно, а все же,
коль правду сказать,
интересно,
неравнодушно, как помню,
мы жили при нем.
С верою жили,
с заглядом вперед, если честно,
а не текущим одним,
пусть и ведренным, днем.

Жаль, заболел он:
сердчишко изрядно устало...
Вышел на пенсию,
к дочке отправился жить.
...Вот и твержу я,
что быть председателем —
мало,
надо еще
и хорошим хозяином быть!

Завет

Помню:

дед, оставив ручки плуга,
говорил нам (градом пот с лица):
— Можно обвести вокруг пальца друга,
изловчившись — можно и отца;

Можно обмануть свою невесту,
и жену, и мать, коль нет стыда,—
землю же —

да будет вам известно —
землю не обманешь никогда!

Что-то ты, бывает, не доделал:
«Ладно,— порешил,— и так сойдет».
— Не сойдет!— круглились очи деда.—
Нет! Земля всему ведет свой счет!

Верно, что она, родная, кормит
всех:

бездонный вроде бы сосуд.
Что ни лето —
корни, корни, корни
грудь ее могучую сосут.

Разом все,
а ей, земле, урона
никакого: глянешь — красота!

На полосе

Помню, сеял наш колхоз. Из района
прилетели на рысях два пижона.

Оба в шляпах, в башмачках, в макинтошах...
И давай судить-рядить — слушать тошно!

И командовать притом, брать за глотку,
указующим перстом тыча в сводку.

Дескать, сеете не так и не это,
дескать, дедовским нельзя жить заветом.

Дескать, техника у вас, удобрения...
Не хватает одного только: рвенья!

Сыро? Да! Но и сырей были годы.
Дескать, у моря смешно ждать погоды.

Мол, у нас тут не Кавказ, а Расея...
И поэтому приказ: сеять, сеять!

Тут собрался с духом я — и в глаза им:
— Кто хозяин на земле? Я хозяин!

Мне решать, что хорошо, а что плохо.
С этой верой шел в колхоз дед мой Прохор!

С этой верой батька мой рыл окопы
на полях родной страны и Европы.
По наследству жить и мне с этой верой
и за землю отвечать полной мерой!

Потому как коренной — я здесь житель!
Да!.. И сводкой предо мной не трясите.

Я мужик и сводку ту уважаю,
что выводится вослед урожаю,

а не до...

Когда в гнезде еще птица,
говорю, считать цыплят не годится.

И вот он, легкий, пляшет на волне!
Я удочки беру, сажусь за весла
и — встречу волне — в затишек,
к дальним соснам
лечу!..
Но речь сейчас не обо мне.

...Наутро,
чайки вылетят когда
и морс зари над озером прольется,
я встану
и пойду с ведром к колодцу —
вкуснее из колодечка вода.
По тропочке пойду, вдоль камыша,
и вдруг увижу:

к берегу несется
лодчонка... Это ты!.. И встрепенется
от угрызений совести душа.
«Опять проспал!» — себя я укорю.
И, позабыв, что воду надо к чаю,
рванусь навстречу лодочке,
к причалу,
и твой улов дотошно осмотрю.

Сверкнут позолоченным серебром
лещи... Меха́ми жа́бр чего-то щука
вдруг прокричит
(но как всегда — без звука),
и шевельнет оранжевым пером
огромный окунь;
он из хватов хват:
недаром вечно в робе полосатой;
и выскользнет из рук нали́м усатый,
о милости прося: «Не виноват!»
Хитер же!
Чуть не мимо кузовка...

За жабры взяв, кричу, неумолим, я:
— Ты дай-ка мне его! Уха налимя —
хочу проверить — правда ли сладка!

— Проверь, проверь,— в ответ смеешься ты.—
Да лещиков добавь... на сковородку...—
И вместе мы затаскиваем лодку
от солнышка в ольховые кусты.
Ей тут до завтра будет мылить борт
волна, до предрассветного тумана.
Ну а потом...
Воистину, кто рано
встает — тому всевышний подает!

Пусть мается башкой еще Федот,
что завалился спать вчера «поддатый».
А ты, попив чайку,
уже с лопатой
выходишь в это время в огород.
Так летом у тебя заведено.

Ты зеленя окидываешь взглядом:
картошка зацвела, прорыть бы надо
да и полить, пожалуй, заодно;
но прежде пленку сбросить с парника,
дать огурочкам солнышком умыться
(над ними подрожишь, как говорится,
погнешься, хоть один сорвешь пока).
И вот жужжит под берегом насос,
а ты меж грядок ходишь
с шлангом черным
и смотришь, как опрастывают пчелы
цветы, едва обсохшие от рос.

«Все соберем!— поют.— Все соберем!»
Сегодня полной чашею нектар им...

Жена наденет в полдень накомарник
и выйдет к шумным ульям с дымарём.
Час проторчит над ними — и не зря!
Достанет рамки — и запахнет медом
над теплым в это время огородом
сильнее, чем дымком из дымаря.

— Как взяток?— крикнешь издали жене.
— Да тяжеленек...— скажет. И вдогонку:—
А ты бы приготовил медогонку,
самой не совладать, поди-ка, мне.
— Ну-ну...— И ты уходишь под навес,
ворча под нос: — Подумаешь, работа!..
И гонишь мед.
Хотя твоя забота
об эту пору — озеро и лес.

Погода ль, непогода на дворе —
умри, а к сеткам сплавай на заре.
Достань, коли попало что-то, ибо
жить, как Федот — и в том ему укор!—
у озера
и все-таки без рыбы —
ты правильно считаешь за позор.

А без грибов, когда кругом леса —
тем более... Вот-вот пойдут волнушки.
Их собирать-то: в гору да с горушки —
пестерь за полтора, за два часа.
Потом грузочки — в шляпах на заказ!
А следом рыжик — царь лесов окрестных.

Места их сборищ издавна известны
тебе, и вроде зорек еще глаз.
Не подвела бы только вот нога...

Осколок выше щиколотки врезал
под Лугой... прямо в кость...
Кусок железа
и для тебя нашелся у врага.

Вчера взглянул — синее снова шрам,
тая в себе угрозу воспалиться...
« Неужто снова ехать к докторам?
Неужто вновь валяться по больницам?
Поотлежусь — и, дай бог, пронесет...»

...Гудит и гонит ветер медогонка,
грохочет, заглушая поросенка
повизгиванье:

тоже чует мед.

А уж соседи — те наверняка!
И первой прибежит жена Федота:
— Чайку с медком хозяину охота:
простыл... замучил кашель мужика».

А вслед за ней и Марья — тут как тут! —
и Нинка с Шуркой: — Дело, мол, такое... —
И каждая с протянутой рукою...
Конечно, платят — не за так берут.
Но ведь могли б и сами завести
по домику: одно бы — не скучали,
другое — своего бы накачали,
пока успеют травы отцвести.

Федоту предлагал:

— Возьми семью.

Возьми! И улей даже презентую...

Займи хоть этим вдребезги пустую,
хмельную вечно голову свою.

— Да я же не умею.

— Научу!

- Ну, а когда мне?
— Было бы желанье!

Так где там!..

Растянувшись на диване,
сказал:

- Нет, это мне не по плечу.

И не соврал, пожалуй... Где ему?!
Ведь к пчелам-то с желаньем тоже надо.
А он — что пчелы! — за семь лет веранду
не смог пристроить к дому своему.
До половины окон вывел брус
и бросил: мол, успеется, не к спеху.

...А тут как раз из города приехал
свояк, скрепили родственный союз
бутылкой.

А потом приехал брат.

Потом сеструха... Летом. На природу.
Весь день в избе родительской народу
полно: едят и пьют... А он и рад!
Заскочит по пути пять раз на дню,
присядет, выпьет стопочку, икая,
возьмет рукой колбаски, упрекая
(«Все разбежались!») кровную родню.

А брат ему — шутя или всерьез —
возьми да и скажи:

- Вот что, Федотка...

Чем жить вот так —

с утра вино да водка —
так лучше уж решить, как мы, вопрос:
уехать! Шатуном куда-нибудь,
бичом — иными ежели словами...

Ведь на твою с неровными углами
избушку, право ж, совестно взглянуть.
Обшил хотя б... штакетником обнес...
мосточки настелил... а по фасаду
сирени насадил себе в усладу,
а у калитки парочку берез
весной пристроил...

Даже вон цыган,
свернув с дороги со своей повозкой,
не где попало, а в тени березки
раскидывает-ставит балаган.

Не только для удобства...

Для души!

А у соседа вон — зачем далёко
ходить?—

взгляни, наличники на окнах
какие... Хоть картину с них пиши!

А дом — обшит, покрашен...

Красота!

И окромя сирени да рябины,
под окнами все лето георгины
цветут... Свисают ягоды с куста:
смородина, малина...

— Кулачок!—

вдруг вырвалось со злобой у Федота.—

— Ну нет... На кулака батрак работал,
а у него свое болит плечо,
своя спина...

— И все равно — кулак!

И прохиндей... Недавно легковушку
купил сынку. С горушки на горушку
летают, дразнят, лешие, собак.

— Собаки что?.. Собаки ко всему
привыкнут... А вот ты, Федот, как видно,

Копна пристала к берегу, к мосткам.
И вот, слегка качнувшись с боку на бок,
она, вбивая в ноздри сладкий запах,
пошла, как говорится, по рукам.

А ты, с косой в натруженной руке,
мне прокричал, едва ступив на берег:
— Какие, парень, травы в заозерье
стоят,

еще не тронуты никем!

Убиться, парень, на таком лугу!

Гудит все тело,

а душе — отрада!

Кошу и вижу: больше мне не надо...

Не надо, а оставить не могу!

Поскольку жалко: во — трава, по грудь!

И никого в округе, как в пустыне.

Перед войной там был колхоз, а ныне —
шабаш! — косою некому махнуть.

Еще придется съездить наразу,
а то дожди пойдут уже, поди-ка...—

И вдруг:

— А там, в болотнике, черника
уже поспела... Хочешь, подвезу?

*

Он был мужик. Служил в пехоте,—
как, впрочем, все его село.
Один живым остался в роте.
Домой вернулся.
Повезло.

До самой смерти удивлялся,
оглядываясь на войну,
тому,
что жив-таки остался,
детей увидел и жену.

О геройстве

Вспоминают ветераны

— Глядя на мирные вешние всходы
и на детей, увлеченных игрой,
мы, мужики, забываем порой,
что означало в военные годы
громкое русское слово
ГЕРОЙ!

В грохоте бомб,
в завыванье снарядов,
в вихрях свинцовых с обеих сторон
«Я» с этим словом не ставилось рядом —
ставилось только стороннее «ОН».

«Да, ОН — ГЕРОЙ!» —
про кого-то стоустно
после сраженья твердили стрелки —
сами не пайньки, сами не трусы,
можно сказать, хоть куда мужики,
но не герои покуда...
Геройство
в их понимании — помнишь, поди? —
было не в этом одном только —
просто
встать и рубаху рвануть на груди!

— Верно! Героем — заочно и очно —
звали того, кто (об этом и речь!)
вражью рубаху сподобился в клочья,
в клочья порвать,
а свою уберечь!

И потому накануне сраженья
нам не случайно давался наказ:
«Помни: в истоке геройства —
уменье,
точный расчет и намётанный глаз.
Вера,
что, к ложе щекой припадая,
ты, от рожденья не слеп и не слаб,
выпустишь пулю свою, упреждая
встречную —
ну, на мгновенье хотя б!...»

В общем,
уменье — основой успеха
было в сраженье...
Добавлю теперь:
это — как поле вспахать без огреха,
это — как ниву убрать без потерь!

Ветеран

Ивану Савельевичу Пугачеву

Помню Ваню в тридцать лет от роду,
а точнее — даже в двадцать пять!
Выбритый до блеска подбородок,
строевая выправка — на ять!

Сапоги начищены. Затянут
до последней дырочки ремень.
Поднимался Ваня раным-рано
и летел в казарму, что ни день.

Он любил порядок идеальный
в роте. Он известен был в полку!
И тянулся перед ним дневальный
в струнку,
вскинув руку к козырьку:

— Смир-риа-а! — под казарменные своды
тенорок взвивался в вышину.
Несмотря на молодые годы,
уважал «салака» старшину!

Знал, что в досталь выпало лишений
и ему, что он на «мушку» брал
не одни фанерные мишени —
он косил

живые
наповал!

Льнули все солдаты к дяде Ване:
строг, но и заботлив был, как мать.
Точно в срок помоем в жаркой бане,
спать уложит в чистую кровать.

Трижды приведет на дню в столовку.
Плохо ешь — шепнет: «Рубай, рубай
все подряд — и пшенку, и перловку,
крепче будешь, ёкерный бабай!»

Были им довольны командиры:
— Так держать, товарищ старшина!—
...Ну, а в городке, одна в квартире,
Нюшенька ждала его, жена.

Впрочем, чаще все же на народе —
не одна;

особенно весной.

Боже, сколько дела в огороде
в эту пору! Где уж ей одной.

Сбрасывал военную рубашку,
а с рубашкой вместе — груз забот,
и, как Селянинович на пашню,
шел Иван
с лопатой в огород.

Под картошку грядки, под капусту
(а под помидоры — парники)
ладил...

И не как-нибудь, а с чувством,
с толком — замечали мужики.

Замечали: просыпалась, пела
Ванина крестьянская душа.

И работал он,
с весенним делом
раньше всех управиться спеша.

Хохотал:

— Вот это, брат, зарядка!—
до земли склоняясь головой.

И всходил потом, клубясь, на грядках
труд его
картофельной ботвой,
огуречной — в цвете,—
помидорной...

И добавлю, не боясь приврать,
кипенью смородины, которой
нарастет, бывало,— не убрать!

А еще крыжовника, малины,
земляники...

Нюша не жадна:
ягод тех к зиме

и половины

не законсервирует она.

В августе,
едва подкатят к дому
гости — москвичи ли в свой черед,
черепане ль,—
в руки всем бидоны —
и сама ведет их в огород.

— Рвите! Витаминнее варенья
нет... А ты особенно, Сергей,
чтобы у тебя стихотворенья
в голове слагались поскорей
да и позабористей... по смыслу.
И особо — если о земле...
Чтобы их не только писарь лысый —
всяк хвалил —
мой Ваня в том числе!

Ваня, Ваня... Годики, однако,
шли, и стал уж
дядей Ваней он

для всего двора,
он — бывший прапор,
вышедший в свой срок на пенсион.

Отошли солдатские заботы!
Ходит дядя Ваня по двору:
чтоб играла кровушка, работы
ищет и себе, и топору.

Ходит, щурит глаз: порядок всюду.
Цел забор, подправлены мостки.
Грудятся, не колоты покуда,
только у сарая чурбаки.

Дядя Ваня —
видно, есть причина —
издали глядит на них, как кот:
он сейчас их вдребезги,
в лучину,
в щепки (хватит силы!)
разнесет!

Вот, расставив ноги как опоры,
к чурбачку приставив чурбачок,
— Хах-х! — бросает он колун-топорик
книзу через правое плечо.

И со звоном-бряканьем стеклянным
плахи,
как осколки от гранат
(дядя Ваня все-таки крестьянин!),
на пять метров
в стороны летят.

Час и два веселая забава
длится... Наконец и ей — конец.

Нюша подплывает, словно пава,
говорит:
— Ну, Ваня, молодец!
Спину-то опять не надорвал ли?..

...Между тем зажглись уже огни.
Холоднее стало.

И с дровами
к дому вместе топают они.
Свежие, березовые, пылко
будут полыхать в печи дрова,
будет на столе стоять бутылка,
будут задушевные слова
из души проситься,
будет думка
тайная сердечко бередить,
будет опорожненная рюмка
отраженным пламенем светить...

Ваня размечтается,
на печку
глядя, угольки пошевелит...
— А не взять ли, Нюша, нам овечку
в будущем году?— проговорит.—
Верно, в поросенке — килограммы...
Но какие?!— вскинет руки он.—
Надобно в решенье продпрограммы,
Нюша, ликвидировать шаблон!

— Ты, «шаблон», пошел бы, задал корму
курам... На замок закрыл бы двор.—
Не желает Нюша к разговору
приставать: не новый разговор.

Можно взять, конечно, то и это...
и бараньи, ясно, лучше щи...

Ну, а как? Едва наступит лето —
Вани нет, ищи его свищи!

Сел за руль — и ходом — на рыбалку:
надо, мол, уважить племяша...
Ну, а Ньюша — дома... Ньюшу жалко,
Нюшина привязана душа

к грядкам, к парникам, набитым цветом,
к курам, к поросенку в закутке...
Нюша из ворот не выйдет летом
без ведра иль заступа в руке.

Дядя Ваня, видно снова взвесив
все, сказал жене, взглянув в окно:
— В это лето, Ньюша, будем вместе
на рыбалку ездить! Решено!

Лесной ручей

В ручьях, особенно лесных,
журчащих в темных корневищах,
вода всегда, во-первых, чище,
вкусней намного, во-вторых.
А отчего? Да оттого,
что от начала, от истока,
она ушла не так далёко
и дышит свежестью его.
И холодком...
Тем холодком,
который ломит даже зубы,
когда мы в знойный полдень — любо! —
склоняемся над ручейком.

Всё,
как под стеклышком,
на дне!
Ручей речист и полон смеха,
Никто его не переехал
ни разу даже на коне.
Не замутил никто ногой,
сказав при этом:
«Как здесь мелко!»
Перескочила только белка
через него разок-другой.
Да уронил птенец перо,
через него перелетая...
Вода, поистине святая,
звенит, блестит, как серебро.
«Ах, что-то будет с ручейком
потом, —
я думаю, печален, —

когда он речку повстречает
за безмянным бугорком?
Ту, про которую молва:
мол, повидала речка свету,
и вот теперь ни рыбы нету,
ни раков в ней, одна трава.
Да и она — почти черна...»

Ручей звенит, струю свивает...
И замороженно внимает
ему лесная тишина.

Охота на лося

...Вдруг
небо треснуло над головой!
Как будто это ветер буревой
столетнюю сломал в чащобе елку.

Зверь сделал шаг... второй...
Еще живой...
И пал.

А браконьер взметнул двустволку
и крикнул, торжествуя:
— Наповал!
Шагов за пятьдесят!— добавил гордо.—
Эй ты, чувак!— напарника позвал.—
Достань-ка нож да перережь ей горло!

Тот подошел...
Действительно, она —
лосиха — в этот раз была убита.
И кажется, с теленком,
не одна
гуляла тут — вон след его копыта.

Пристроил он ружье возле куста
и начал свежевать угрюмо тушу.
А на душе («Фу, леший!») маета:
заглядывает будто кто-то в душу.

И верно:
зыркнул из-под козырька
и увидел совсем неподалеку

два рыжих, в растопырку, лопушка
и два от страха выкаченных ока.

— Лосеночек!—

Расставив широко
ходульки неокрепшие, глядел он...
Глядел он, и стекало молоко
с губы дрожащей ниточкою белой.
И терпко пахло кровью...

— Не могу!—

Вонзился в землю нож по рукоятку.—
Зачем ты,— закричал он, как врагу,
напарнику,—
зачем стрелял ты в матку?
Не видел, скажешь?..
Нет, ты видел, врешь!—

И яростный — дыханье даже сперло —
он выпрямился, взял ружье и нож:
— Мне это мясо... не ползет в горло!
Беги, малыш!— лосенку крикнул вслед.—
Беги, пока, как матке, не попало!..

...И с той поры —

прошло семнадцать лет —
с ружьем в лесу ни разу не бывал он.



На медведя

1

- Давайте-ка стряхнем заботу,
Вадим Вадимыч, и, как встарь,
махнем в субботу на охоту:
зима не ждет — уже январь.
- А есть берлога?
— Есть берлога...
— Спит?
— Как всегда, мертвецким сном.
— Дорога как?
— А что дорога?!
Час-два — и мы в краю лесном!
Коль пожелаешь — сядем рядом:
организую вертолет.
- А кто командует парадом?
— Да Плясов — кто ж...
Звонили. Ждет.

2

- Приедут! — Плясов сбился с круга.
Два дня звонил: просил, кричал...
Ведь он встречал не просто друга —
Вадим Вадимыча встречал!

На помощь егерю поспешно
еще четверку отрядил...

- Вадим Вадимыч... он, конечно...
Но не один же на один
с медведем!..

Ох, мое сердечко!
Вторую ночь не сплю... А вдруг,—
он округлял глаза,— осечка!
И что тогда?.. «Здорово, друг!
Давно не виделись...» И лапку
положит этак на плечо...
А то еще возьмет в охапку
и поцелует горячо.

Ну, нет уж... Я таких объятий
не допущу, трам-та-ра-рам!—

И егерю: — Смотри, приятель!
Чтоб рядом... все! По номерам!

3

Проткнул колом берлогу егерь
и проорал, бодрясь: «Подъем!»
И видно, шубу на медведе
слегка попортил острием.

Потом пошарил жердью слева
«А ну-ка, где ты там, милоч?»

И зверь проснулся,
и, разгневан,
башкою вышиб потолок!
И увидал:
тесня друг друга,
стоят охотники стеной:
семь-восемь — справа, полукругом,
немного меньше — за спиной.

«Да что ж вы, братцы...» — полорото
медведь на стенку посмотрел.

И в слезы: «Это ж не охота,
а натуральнейший расстрел!
Подумать: эстолько народу!
И два, у каждого, ствола!
Не стыдно ль, братцы?
Ведь отроду
такой охота не была.
Вы что — слабее стали? Или
трусливей?— Он прищурил глаз.—
Ведь ваши прадеды ходили
с одной рогатиной на нас!
И не по десять на берлогу...—
Медведь слезу утер меж тем.—
Ну, что дрожите вы, ей-богу?!
Ведь я зимой не пью, не ем.
На кой мне ляд на вас бросаться!
Я вот возьму и лягу тут!
Но чур,— он поднял лапы,— братцы!
У нас лежачего не бьют!
Да и у вас, я слышал, тоже...
Хотя вы в драке
страсть как злы!
В связи с таким обычаем, может,
вы все ж опустите стволы?»

Тут все, от страха замирая,
глаза на егеря... А тот:

«Поскольку дело принимает
совсем неожиданный оборот,
считаю,
можно, даже нужно
спустить, товарищи, курки».
И тотчас в снег уткнулись ружья!

«Вот это мудро, мужики!»—
оптимистично рявкнул Мишка.
И, лапой яростно скребя
там, где свалялася шерстишка,
стал прихорашивать себя.

«Конечно, вы могли бы сдуру
меня убить... пардон, «добыть»,
но как, скажите, стали б шкуру
на всю компанию делить?
Зачем она вам? У порога
швырнуть?..

Побойтесь же греха:
ведь в ваших тепленьких берлогах
есть покрасивее меха.
Любых цветов! Не то, что прежде.
Тащи домой любой отрез...»

И вдруг:
«Но и мясо медвежье...
кхе... представляет интерес!
Деликатес!»—
из-за сугроба
раздался
робкий голосок.

«Неужто,— рявкнул он сурово,—
вам медвежатины кусок
дороже чести?! Не поверю!
Ведь есть у вас другая снедь!
О люди... Мне, лесному зверю,
за вас приходится краснеть».
«Ну, это ты... того... напрасно!
Мы не за мясом только в лес.
Нам отдохнуть важнее, ясно?»

колом... Уйми ж ты, сударь, дрожь!
Ведь у тебя ж ружье... И кроме,
вон, под полою, финский нож!»

«И в самом деле —
ты смелее,
Вадимыч! — крикнули друзья. —
Коль грудь на грудь не одолеешь —
пали спокойно из ружья!
Не первый раз!» —

И, в сани скопом
упав, стегнули лошадей.

«Гей, сивка-бурка, рви галопом,
греми копытами, злодей!
Гей, гей!» —
и скрылись, на дорогу
попав, как видно...

А медведь
поскреб затылок — и в берлогу...

Вадим Вадимыч поднял жердь,
вдохнул и — господи ты, боже! —
откинув за спину ружье,
ту жердь в отверстие берложье
швырнул, как в недруга копье.
И не успел еще приклада
поймать —
уйдешь ли от судьбы? —
как перед ним,
огромный, рядом,
медведь поднялся на дыбы.
Вадим попятился, споткнулся,
упал...
Медведь взъярился — и...

...И тут Вадимыч наш проснулся,
мешком свалившись со скамьи.
«А-а!» — закричал (ушиб затылок).
Открыл глаза: окно... луна...
стол... на столе — ряды бутылок...
И закусь всякая видна.

Потер виски и всплыло.. всплыло,
как прошлогоднее кино,
что тут недавно вроде было,
а было, кажется, давно...

«Все это Плясов! Едем, едем!
Мол, романтично: лес, снега...
жаркое заячьё... и егерь —
наш хлебосол и ваш слуга!
О черт!.. Приехали!..
Пожалуй,
уж дальше некуда...»
Он встал.

У печки ружья в ряд лежали,
блестел ухоженный металл...

Домой, на север

Еще плавилась льды на севере,
прибывала еще вода,
но поднялся с зимовья селезень,
шею вытянул — и туда!

Был он молод и полон грации:
хорошо жировал зимой
в этой самой эвакуации —
захотелось теперь домой.

И чем дальше летел он к северу,
озорюя порой, крича,
тем красивее утки серые
становились, он замечал.

На востоке полоской узенькой
зачиналась опять заря.
И звучало волшебной музыкой
басовитое «кря-кря-кря!»

И когда уже крылья резвые
притомились,
ему в глаза
речка Пучка сверкнула лезвием
и широкие пучкаса.

Вспомнил:
летом, укрыт осокою,
здесь он крылья свои растил,
небо севера невысокое
покидая потом, грустил.

Здесь изведал он, как безжалостны
стужи... смертную скуку льда...

Все забыл!

Молодой и яростный,
он вернулся опять сюда!

«Кря-кря-кря!»—

словно «вот где села я!»—

зов слышался из травы.

...Что ты сделала, утка серая?!

Все вы, женщины, таковы.

Не заметил, как все влюбленные,

он, закладывая вираж,

как метнулись два воронены,

два стальные, впадая в раж.

И плеснулся огонь, нацеленный
в грудь горячую — по прямой...

Сизый селезень, сизый селезень

прилетел в этот день домой...



Сказал творец

Старинная легенда

Сотворив и моря голубые и сушу,
бог слепил человека потом не спеша.
Оглядел: «Ничего!» И вдохнул в него душу.
И увидел: к воде потянулась душа.

Он ей — горы, степей золотую свободу,
он ей — рощи густые, селись и владей!
А душа: «Хорошо! Но хочу еще воду.
Жить вдали от воды не смогу, хоть убей!

Чтоб плескалась у ног,
чтобы взгляду — отрада,
чтобы телу — прохлада в жару, наконец...»
И отправилась к морю из райского сада.
«Вот так штука!» — сконфузясь,
воскликнул творец.

И, собрав на челе многодумном морщины,
синей молнии

острый конец

на лету

он поймал
и пошел бороздить им равнины —
для души человека творить красоту.

Зажурчали ручьи по горам... И навеки
среди лугов и лесов, людям радуя взор,
разлились широко полноводные реки,
синевой наполнились блюдца озер.

Он не спрашивал даже: довольны ли люди?
Но сказал им: «Запомните (знать, неспроста!),
что вода ублажать вас и радовать будет
вечно,
если останется вечно чиста!»

Но забыл человек в небрежении грешном
тот завет. У него обидённый расчет:
грязь — люблю! — куда ее?

В воду, конечно!
Дескать, стерпит вода,
все вода унесет.

Видя это, творец опустил с макушки
мироздания
и в гневе смотал на кулак,
словно ленты, ручьи,
а кой-где и речушки...
«Вот вам первый урок! Поживите-ка так!»

Оглянулся — живут! И опять без почтения
и к озерам, и к рекам... Минули года —
рыба вымерла в них и погибли растенья.
Мертвой стала в озерах и реках вода!

Где-то черною стала она, словно сусло,
где-то, скрытый досель, обнажился порог,
где-то берег осел и зайлилось русло...
И с небес донеслось: «Се — второй вам урок!
А его не усвоите если — придется
вам, о люди, великую жажду познать.
И научитесь вы, приближаясь к колодцам,
обувь — чистую даже! — заране снимать!»

Журавли

Валерию Дементьеву

Дороги пали. Сходит снег с полей.
И с каждым днем в природе больше синего...
О, как я понимаю журавлей,
летающих в это время над Россиею!

«Курлы! Курлы!»— разносится с утра,
и в небесах, и в талых водах плещется.
О, как оно похоже на «ура!»
вернувшихся домой сынов Отечества!

«Курлы! Курлы!»— Но старший держит строй,
прокладывая курс в обитель старую.
О, как хочу я вешнюю порой
стать журавлем, лететь домой со стаею!

Пускай покуда заморозки там
и лед еще стоит, но мне не терпится,
как этим в небе ранним журавлям,
скорее с милой Родиною встретиться.

Весенний пал

Радуюсь:

я снова на природе —
у сестры, на родине, живу.
Вижу: Ньюша ходит в огороде,
палит прошлогоднюю траву.

День и теплый выдался, и ясный.
Подсыхает, греется земля.
Огонек шныряет мышкой красной,
хвостик дыма по ветру стеля.

Хрумкает та мышка деловито
и репы, что с осени стоят,
и личинки всяких паразитов,
и дурное семя — все подряд.

Грязновато-серенького цвета
и трава — Не шибко, но горит.
Черт возьми, меня работа эта
почему-то очень веселит.

Знаю я: огонь не тронет корни,
нет! Земля останется жива.
И сквозь черный пепел пала вскоре
прянет к солнцу новая трава!

Вымахнут — и раньше на неделю
расцветут ромашки на лугу...
Дай-ка, Ньюша, в этом добром деле
я тебе немного помогу!

Первая разлука

Уезжал сыночек «на картошку»,
никуда не ездил до сих пор.
Постаралась мама,
сына-«крошку»
собирая в дальнюю дорожку:
еле до автобуса допер
купленный на этот случай
(лямки в плечи врезались)
рюкзак,
сапоги («В колхозе не получишь!»),
шарф и свитер («Осень как-никак!»),
старый плащ («На случай непогоды»),
пирожки («Проглотишь с языком!»),
и в ладонь («На мелкие расходы»)
три червонца вместе с кошельком.

Волновалась мама. Дни разлуки
днями муки были. Ляжет спать —
ловит шорохи и звуки, *
а заснуть не может:
мать!

— Пишет? — донимали на работе.
— Пишет... — А отроду не лгала.
Месяц

мать в тревоге и заботе
и еще полмесяца жила.

Наконец в воскресный день — о радость! —
он вернулся. Он ввалился в дверь,
возмужавший — усадила рядом,

загоревший — обласкала взглядом
лучезарным: с нею он теперь!

— Ну так как там? Очень уставали?..
У тебя мозоли на руке...

— Всяко... Норму, в общем-то, давали...

А под вечер в клубе — трали-вали...
танцы... В общем, мамочка, о'кей!

— Не болел? А то — такое снилось...

— Что ты, мам! Да я же... ты гляди! —

Бицепсами хвастаясь и силой,
поднял мать, прижав к груди.

— Вижу, вырос. Только почему ты...

(мать сменилась вдруг с лица)

не прислал мне — не нашел минуты —
ни открытки и ни письмеца?!

Каково из ящика мне было
лишь газеты доставать?

— Но ведь ты же мне не говорила,
чтоб писал...—

И онемела мать.

Долго на него она глядела —
горестно, испуганно, любя...

— А душа?..

Она-то не велела?

Есть, сынок, душа-то у тебя?

Жизнь

— И до чего же она коротка,
жизнь-то!..— вздыхает старик, опечален.—
Диво, давно ли все было в начале,
все, как в начале большая река...
Все, как раскрытая только тетрадь,
первая строчка на белой странице...
Глядь, позади уж события и лица,
годы... И время тетрадь закрывать.
Эх, кабы выбросить эту тетрадь,
взять бы другую... И в том же порядке,
с опытом нынешним в новой тетрадке,
жизнь — уж теперь набело — написать!—
Юноша слушает речь старика
(и половины пути не прошел он!)
и размышляет, сомнения полон:
«Жизнь, разве так уж она коротка?!
Верно, не две у меня их — одна,
ну и — любому известно — не вечна...
Но разобраться — почти бесконечна!
Старость, когда-а еще будет она!
Я еще только когда-то влюблюсь,
ждать да пождать, когда свадьбу сыграю,
стану известным, детей нарожаю...
Нет, ты лукавишь, пожалуй, дедусь».
— Дедушка, помнишь ли ты вечера,
те, что провел... ну, с любимой девчонкой?—
Дед улыбается: — Вон, брат, о чем ты!..
Как же забыть-то их?! Словно вчера
с нею встречался я... Помню, внучок,
даже, как солнце за стогом всходило,
сколько на кофточке розовой было
пуговок... Ну, да об этом молчок...

Век прожить...

Приставала внучка к бабке с разговором:

«Выходить иль нет мне замуж за Егора?

Любит — вот как!

Не дает нигде проходу.

Говорит, что с моста прыгнет

с камнем в воду,

если завтра не подам ему я руку...»

«Ах, не мучай, внучка, зря меня, старуху!—

отвечала бабка ей скороговоркой.—

Знать, не любишь ты совсем его, Егорку,

коли спрашиваешь, глупая, совета,

не жалеешь!

Это первая примета.

А коль породнишься все ж с его ты домом,

век-то, ой, тебе покажется как долог!

А любимый-то возьмет тебя за ручку...

Боже!— Бабка усадила рядом внучку.—

Так и быть уж, выдам я тебе секретик:

пролетит твой век,

как день,

и не заметишь!»

Разговор с вечностью

Было лунно. Звезды трепетали.
Музыка небесная лилась.

— Вечность! Ты меня в свои скрижали
занесешь ли? — фраза раздалась. —

Дерзок я

и, кажется, удачлив,
греюсь у высокого огня...

— То, что ты при жизни

много значишь, —

ничего не значит для меня, —

отвечала Вечность басовито. —

Минут годы. Может, минет век —

и возьму, и положу я в сито

горсть твоих деяний, человек.

И в его размеренном круженье
высеется вдруг,

и я приму,

только то, что Истине служеньем
было,

а не чреву своему.

Только!

У меня такая мера.

Вечность я,

я бесконечность лет.

Так!

И ни лжецам, ни лицемерам

на моих скрижалях места нет!

Конфликт

Вечером
он постучался в дверь
и — возбужденный — с ходу:
— Я, извините, насчет потерь
по цеху и по заводу...
Пора решить наконец вопрос,
пора навести порядок!

И вдруг услышал:
— Не суй свой нос,
любезный, куда не надо!

Как будто оплеванный, он ушел
из светлого кабинета.

Ушел...

Но дома всю ночь,
взбешён,
комнату мерил шагами он
до самого до рассвета.
И становился все тверже шаг
и сжатые губы — тверже.

Ему супруга:

— Уймись, чудак...
Пойми, что ты перед ним слабак,
что выйдет себе дороже.

Но женской логике он не внял.
Ведь он никогда покуда
свое достоинство не ронял —
ни в чем!—
и ронять не будет!

...А через день,
не успев остыть,
он
добрым знакомым в уши,
ища сочувствия
(«как тут быть?»),
излил, распаясь, всю душу,
— Я не прощу!— он кипел.—
Ни в жизнь!

Но кто-то, присев с ним рядом;
«Плюнь...— мяукнул, как кот,—
отступись...
Что тебе — больше надо?..»

Мягкую лапу стряхнув с плеча,
как будто стряхнув лягушку,
он встал
и рыжего Кузьмича
увидел — тихонького рвача,
рвача, но такого душку...

— Ах, это ты... это ты, сурок,
глаза из норы таращишь!
Конечно, драться —
какой в том прок!
А ты — вчера уволок кусок
да завтра еще утащишь —
и жизнь тебе,
как мед по усам...
Все в дом волоча да к дому:
«Живи, — твердишь ты молитву,—
с а м
и жить не мешай другому».

Но, чтоб сошел с твоего лица
румянец,
услышь, сурчина,
что это заповедь подлеца
и... знаешь какого сына!
Не надо мне больше других!
Но мне...
Мне надо — и в этом дело!—
чтоб меньше в великой моей стране
сурков
от глаз людских в стороне,
по норкам своим сопело!

Дядя Митя жил вольнее вольного:
в будни пил, а в праздники кутил.
Больше всех налога добровольного —
разобраться — Митя уплатил.

Как в загул ударится, бывало,—
пяточок последний на ребро!
Отродясь у Мити не лежало
в сундуках какое-то добро.

Все спускал до нитки...
Дяде Мите
можно бы, в связи с заслугой той,
памятник поставить на граните —
бронзовый, а то и золотой.

Выплаченного им за жизнь налога
(а платил он сорок лет подряд)
было бы на это даже много...
Но не удостоился, добряк.

То ли подзазубрилась лопатка,
то ли заболел каменотес...
Митя спит за ветхою оградкой.
Столбик деревянный в землю врос,
жестяною звездочкой украшен,
оплетен пожухлою травой...

Рядышком бутылка и стакашек,
налитый водою дождевой.

Конь Гая Калигулы

Из легенд Древнего Рима

Всех городов владыка — он был бог!
Его любое слово было свято.
Что в этом мире он хотел — все мог,
он, Калигула — римский император.
Чтоб кто-то возразить ему посмел,
ослушаться — такого не бывало!
Ни дерзких взглядов и ни встречных стрел...
И это Калигулу раздражало.

Все чаще просыпался он в поту
и, осенен догадкой, думал с болью,
что он теряет мысли остроту
и, черт возьми, утрачивает волю!

Едва на чем решится настоять,
поспорить, поупорствовать до крика,
как снова то же самое опять
летит ему в ответ: «Ты прав, владыка!»

Раз приказал невинного раба
казнить — и что ж?..
Судья воскликнул в страхе:
«Ты повелитель, мудр! Его судьба —
а с ней не спорят —
умереть на плахе!»

Повиновенье — даже в пустяках!
Все — в том числе сенаторы седые:
«О, император! Мир в твоих руках!» —
твердят и перед ним склоняют выи.

Однажды утром, свитой окружен,
в нетронутых лесах, в предместьях Рима,
охотой шумной тешил сердце он
на Рыжем — на коне своем любимом.

И не было спасенья для зверья!
Копье разило! Конь летал, как птица!
И вдруг воскликнул Гай:
«А все же я
Заставлю вас со мной не согласиться!»

Едва ли понял кто —
о чем в тот миг,
разгорячен, подумал Калигула...
Но видели потом, как он приник
к коню и как перчаткой вытер губы
ему...

И как, ухмылку затая,
успел опять беспечным притвориться,
игриво повторив: «А все же я
заставлю вас со мной не согласиться!»

...Наутро, повторенная стократ,
весть облетела площади,
что срочно
сегодня созывается сенат,
а для чего — никто не ведал точно.

Пришли, заране заняли места
сенаторы — послушаться не смели.
«Созвал,— шептались,— значит, неспроста!»
А взоры все туда, к парадной двери.

И вот она открылась наконец
в тяжелом блеске... И перед сенатом
предстал великолепный жеребец
и — рядом — в легкой тоге император.

Поставил своего любимца он
пред первым рядом (извините, задом),
а сам поднялся медленно на трон,
сел и обвел сенат пытливым взглядом.

И четко:

«Есть желанье у меня
(он не спеша ронял за словом слово)
произвести в сенаторы... к о н я,
поскольку и умен мой конь, и ловок!

И самых благороднейших кровей,
а кроме — золотистой, редкой масти». —
И смолк. И поглядел из-под бровей
игриво

на столпов верховной власти.

«Кто возразит? Кто первый, оскорблен,
с желанием моим не согласится?..

Я награжу того!» —

так думал он,

почти с мольбою взглядываясь в лица.

Но зал молчал. Надежно. Гробово.

Охваченного нервною зевотой,

бесить уж это начало его!

Как вдруг поднялся все же дерзкий кто-то!

Картинно тогу бросил за плечо:

«Пред мудростью твоею, император,

склоняюсь я! — он начал горячо

и, как велось, чуть-чуть витиевато. —

Все мы, — взмахнул рукой он, осмелев, —

животные! И разницы меж нами —

пустяк:

одни ступают по земле

двумя,

другие — четырьмя ногами. —

И далее, собрав уже весь дух,

почти продекламировал оратор: —

Память рода

Не пугало средь огорода
и не овца среди овец
ты, Человек...
Ты — память рода
и память крови, наконец.

Тебе
сегодня жить досталось.
Не первый ты.
Но крайний ты.
В тебе всех пращуров усталость,
всех предков смелые мечты.

И опыт их, и честь, и слава,
и гордость их, и даже стать...
И у тебя такого права
нет — их могилы растоптать.

И осмеять
в своей гордыне
(а ведь порой смеешься ты!)
все то, что кажется нам ныне
наивным с нашей высоты.

Остановись же, брат...
Помедли
кирпич обрушить в лебеду.
Не первый, но и не последний
ты в человеческом роду.

Почувствуй стык времен плечами.
Ведь ты всего лишь знак кольца

в цепи,
 которой нет начала
и не предвидится конца!
Не задирай особо круто
свой нос.

А вдруг... А вдруг потом
смешным покажется кому-то
тобой уложенный бетон?!

Снесут его и бросят в груды
потомки где-нибудь во рву
и самого тебя забудут,
как прошлогоднюю траву?!

...Войди в старинные ворота,
на башни глянь и купола.
Здесь шла великая работа,
творились дивные дела.

Здесь
смердами в былое время,
по разуменью, не сплеча,
слагалась чудная поэма
из камня суть и кирпича.

И эта звонница собора —
ее запевная строка,
а башня —

 эхо разговора,
что меж собой ведут века.

Сумей расслышать это эхо,
глубинным нервом ощутить,
чтоб, не плутая,
 дальше ехать,
чтоб не вслепую дальше плыть.

Дмитрия полки

Позабыли ссоры, сдвинули засовы:
наконец-то поняли сполна,
что у них немало княжеств-то усобных,
ну а Русь-то все-таки одна!

Где ее, вторую, вымолить

и взять где

родину, хоть земли широки?

И пришли в отваге к Дону и Непрядве
под рукою Дмитрия полки.

Всхрапывали кони, звякали уздечки,
хлопья пены падали в траву.

Ратники

Мамая слышали за речкой,
за спиною помнили Москву.

«Княже, тут нам стать бы...

Коль не одолеем —

вынесет из пекла вороной!»—

«Встанем за Непрядвой!»— отвечал,

бледнея,—

Пусть Непрядва будет за спиной!»

И добавил, сузив отрешенно очи:

«Все равно назад нам нет пути!»

Долго он решался —

три походных ночи —

эти вот слова произнести.

«С богом, братцы!»— Не был

князь московский трусом.—

Попроворней! Строя не ломай!»

**...И Мамай, увидев пред собою «русов»,
вздрагнул:**

он бывал в боях, Мамай!

Плащ багряный,

Дмитрий отряхнул от пыли,

грозно молвил — в стремени нога:

«Мы не Дон, ребята,—

страх переступили!

А без страха мы побьем врага!»

Память России

Владимиру Чивилихину

Я блуждаю в подвалах минувших веков.
Предо мною
 то выступов скользких оскалы,
то безмолвие башен, бойниц, потолков,
то глубокие — в век глубиною — провалы.

Я теряю связующей нити конец,
я стучу головою о стену в бессилье:
«Был иль нет
 у тебя
 гениальный певец?»—
«Был!»— ответила мне, не колеблясь, Россия.

«Почему же его громогласная песнь,
сладкозвучная песнь
 оказалась бескрыла,
и о том, что он был у тебя, что он есть,
он, великий поэт,
ты, Россия, забыла?

Иль ты память свою утопила в вине?
Иль хлебнула много какого дурмана?»—

«Сотни лет,— простонала Россия,— во мне,
в самом сердце моем, кровотóчила рана.
Мой шелом изувечив, степная стрела
со стены меня сбросила, память отшибла.
И мечу, и огню предана я была,
и закована в цепи... Но я не погибла!
Я одну только ведала песню тогда:
стон...

Со стоном я снова вздымала стропила.
Пусть не все возродила я вновь города,
но свой дух — это ведает враг —
возродила!

И тогда предъявила ордыцам свой счет...»—

«Это так!.. Но ответь,—
я спросил осторожно,—
может быть, позабыла ты что-то еще?..»

И под своды взлетело:
«Возможно... возможно...»



Поэма

1. Березы припадают к проводам

Лето.

Райгородок.

В небе — белые птицы.

Во дворах —

золотые — кричат петухи.

И доносят ветра до районной столицы
запах скошенных трав и рыбацкой ухи.

Тихо-тихо на улках,

почти деревенских,

на окраинных улках Старынь-городка.

Смотрят домики-избы

сквозь тюль занавески,

кулачищи сирени уткнув под бока.

А направо, налево —

все грядки да грядки.

Фиолетовым цветом исходит ботва.

Здесь капуста соседствует

с репою сладкой,

мак — с укропом:

Старынь-городок — не Москва

и не Вологда даже... Былого базара

в нем давно уже нет.

Кроме лука-пера,

почитай, никакого другого товара

на лотках,

да и то, коль заглянешь с утра.



Ну малина еще, голубика, черника,
возле пристани больше...

Проезжий народ
по стакашку, по два
этой ягоды дикой,
пусть не бойко, со скрипом,
а все же берет.

Сыплет бережно тетка черничку в кулечки.
— Где брала?— балаболит.— Да там и брала,
где и бабка и мать... Не близко, сыночки.
Ноги-т стали худые, едва добрела.
— Копишь, знать, на машину?—

смеются туристы.
— Да какая машина... Себе на кино
да внучку на гармонь —
у меня гармонист он,—
да еще своему мужику на вино.
— Мужику? На вино?! Ничего себе — смета!
Рома, сделай-ка кадрик! Не будет цены!

В городке,
в середине недолгого лета,
восклицанья подобные всюду слышны.
И особенно часто под сенью собора:
— Погляди, уцелел! Повезло старику!

Смотрит в небо славянское
маленький город,
сяясь вспомнить,
что знал он на долгом веку.
Ну, к примеру, своих незлобивых соседей —
косопузых, в лаптях
из семи волостей
мужиков. Сколь, бывалоча, их
понаедет
на базар! И у всех — короба новостей!

Это — кроме обычного, значит, товара —
дров да сена,

да меду еще,

да горшков...

И гудел, словно рой, посредине базара,
почитай, до полдня говорок мужиков.

А с полдня

(надо к дому попасть до ночлега),
волю дав чуть хмельным тенорам и басам,
растекался он, тот говорок, на телегах
по проселкам кривым,

по дремучим лесам.

Много помнит Старынь-городок мой.

А впрочем,

о себе и касательно также земли —
что записано в книгах,

он помнит не очень,

крепче помнит,

что в книги писцы не внесли.

Помнит,

как выступала, хоругви вздымая,
удалая дружина под руку Москвы,
чтоб обрушить свои топоры на Мамаю,
умереть, не склонив перед ним

головы.

Помнит,

как и не в столь отдаленные годы,
мать оставив стенать,

убиваться жену,

мужиков увозили, трубя, пароходы
на войну...

Да еще на какую войну!

Припадают березы
с любопытством

к гудящим вовсю проводам.

И лепечут, откинувшись:

«Ой, разговоров!»—

«...сумасшедший, услышат!»— «Пускай, не секрет!»

«Город, город!»— «Ну что у вас?»

Слушает город!»—

«Почему не везете в Урицкое хлеб?»

Поломалась машина? Нашли отговорку!

Что нам, печи топить?— дребезжат провода.—

Сигарет тоже нету».

«Курите махорку!»

«Город! Свет отключили!

На фермах беда!

Скот два дня не поён...»

«Принимаются меры.

Ветер был: видно, где-то упали столбы».

«Город! Шефы не едут».— «Ищите резервы
у себя!» — «Обыскались уж... были кабы!»

«Мне милицию, Зоя!» — «Даю, говорите».—

«Что у вас?» — «Да пропал, понимаешь,

водитель!»—

«Не волнуйтесь: в гостинице он».—

«Ну и черт!

А какая гостиница?»—

«Медвытрезвитель.

Дорогая? Зато бесподобный комфорт!»—

«...Ждем на свадьбу!

Особенно, слышите, маму!

Что? Билеты? Оплатим туда и сюда».

«...Нюра! Где ты пропала?»

Прими телеграмму!

...совещанье актива... о ходе, да, да!

Всем! Прибыть к десяти...»

Записала? Проверим.

Так... И подпись.

И быстро на стол самому.

Нет в правлении?..

Только что вышел за двери?

Что ж, тогда постарайся вручить на дому».

2. «Сам»

...А сам — его зовут Ряднов Егор,—
как раз в минуту эту

на стартер

нажав, отъехал лихо от конторы.

Он не терпел пустые разговоры
в конторе. Золотых полей простор
ему и взгляд ласкал, и тешил душу.

И то сказать:

умел он землю слушать
и понимать ее немой укор,
когда она обманута бывала;
страдал, когда сама она страдала,
и ликовал —

и это с давних пор,—
когда она, родная, ликовала.

Ему была отрада из отрад
вникать в дела нелегкие бригад
и разрубать узлы противоречий
мечом отваги;

взваливать на плечи
дел самых главных тяжкие тюки,
за что и уважали мужики
Ряднова.

Он служил для них примером
во всем. Он окрылил их

твердой верой

в успех!

Напоминая, что почем,
он разбудил в них сметку и расчет,
а вслед за тем — хозяйскую заботу,
желанье сделать всякую работу
на совесть, с меньшей долей затрат...

И в этом видел главный результат
своих усилий.

Годы пролетели,
пока Ряднов добился этой цели.

3. Совещанье в районе

Итак, в районе совещанье.
Всем извещенья, всем звонки.
Готовясь к прениям, ночами
корпят-балдеют над речами
во всех колхозах мужики.

Стыкуют фразы неумело,
сверяясь в частностях и в целом
с передовицами газет.
Иному каторжнее дела,
чем эти речи, в жизни нет.

Творит, как лбом о стенку бьется,
как носит камни с полосы,
пока до цифр не доберется
уже в полночные часы.
Ну тут уж проще, тут уж легче:
тут дело — с горки колесом...

Ох эти писанные речи
с их округленностью во всем!
С обкатанною в полной мере

дежурной фразою в конце
(мол, разрешите вас заверить...)
и постной миной на лице.

Рукоплеснется одобреньем,
на миг очнувшись, тишина,
поскольку этим завереньям,
все понимают, грош цена;
с трибуны спустится оратор,
как говорится, наземь, в зал,
забыв, о чем витиевато
он людям только что вещал;

сотрет ладонью капли пота
со лба: мол, экая жара...
И, наклонившись: «Отработал!—
шепнет соседу.— С плеч гора!»

А на трибуне

кудревато,
как все, о чем-то говорит
очередной уже оратор —
из «Маяка» осеменатор,
трудоспособный инвалид.
Точней, читает —
без вниманья
к коварным знакам препинанья.
И в результате — иль не в лад
взболтнет чего, иль невпопад.

Но вот, совсем увязнув —
тяжко!—
в ужасно грамотной строке,
он, сделав паузу,

бумажку
мнет с раздражением в кулаке
и — н-на! — бросает за кулисы,
подумав так на этот счет:
мол, кем он сей доклад написан,
тот сам и пусть его прочтет!

И тут же,
будто всенародно
булыжник вынув изо рта,
вдруг начинает он свободно
о деле баять — красота!
Да с юморком!
Да так, что в зале
как будто майская гроза
шумит...

И даже те, что спали,
таращат весело глаза
и рукоплещут: «Крепко жалит!
В чей, ясно, метит огород!»

...Но мы немножко забежали,
увлекшись, кажется, вперед.
Всё —
и доклады еще будут
и выступленья. Но пока
отставим в сторону трибуну.

Прибыть —
 иним издалека —
еще сюда, в райгород, надо.
Ну, а дорога в этот рай
и в наши дни не автострада:
все время около да рядом
проехать способ выбирай.

И потому, чтоб на собрание
не опоздать, застряв в пути,
все в рай стараются заранее
прибыть — хотя бы к девяти,
под вечерок, чтобы с устатку
(в деревне страдная пора)
испить чайку, упасть в кроватку
и отоспаться до утра.

Лишь те, кому не так далёко,
кому пораньше встать не лень,
прибыть к назначенному сроку
подгадывают в тот же день.

Но всех в пути гнетут заботы,
трещит в раздумьях голова.
...Хлеб вызрел. Время обмолота.
А там в валках еще трава;
а там не убрана солома;
не тронут лен — поспел как раз...
Да мало ль дел под осень дома!
И всюду нужен глаз да глаз...

В такую пору быть бы рядом
с народом... И не потому,
что поторапливать всех надо,
что нет доверья никому.

Тут маета иного рода,
тут вывод, практикой рожден:
душа спокойней у народа,
когда он твердо убежден,
что председатель, как хозяин
(пусть строг не в меру и суров),
своими видит все глазами
и не с чужих все знает слов.

Что встав пораньше, на рассвете
(душа хозяина болит),
он и старание отметит,
и лень позором заклеит.

Всё это так... Но день текущий
для этих дел, пиши, пропал.

Пустыми фразами измучен,
потом и сам он выступал,
Ряднов

желаемое с былью
смешав для красного словца,
сам фонтанировал цифирью,
да так, что градом пот с лица!
А после,
в галстук подбородок
уткнув,
сквозь дрему ли, сквозь сон,
в ряду со всем честным народом
райагронома слушал он
о том,

что надобно скорее
жать, молотить, сушить зерно,
поскольку, если перезреет,
то осыпается оно.

И, наострив как заяц уши,
боясь словечко пропустить,
главзоотехника он слушал
о том,

что надо скот кормить,
ну а коров — доить в придачу...
И эту, образно сказать,
наипервейшую задачу
нельзя из виду упускать...

Затем, стремясь подбить итоги,
наметить список срочных дел,
сам пред РАПО, не в меру строгий,
как первый майский гром,
гремел.

И всё на той же ноте:

НАДО

и то, и это... Битый час!

Да так чувствительно и складно,
что разреветься в самый раз.

— Лелеять землю надо!—

шпарил.—

И быть хозяином на ней!—

И возносил при этом палец
над головой, и все сильнее
и повелительнее, значит,
им потрясал, твердя одно...

Умел, чертяка, «озадачить»
руководящее звено!

Поговорить умел, поокать —
на то ему и власть дана,—
чтоб в резолюции широкой
все отразить потом сполна
в гектарах, в тоннах — всесторонне!—
учесть цыплят и поросят...

Шло совещание в районе
уже четвертый час подряд.

4. *Раздумья в дороге*

Клуб,
все двери в коридор
распахнув, гудит как улей.
Топот, хохот, грохот стульев,
в полный голос разговор.

Дым валит валом в окно.
Воробей кричит вороне:
«Кончилось еще одно
совещание в районе!»

С папиросою Егор
протолкался в коридор.
Дыму, дыму в коридоре —
хоть подвешивай топор.

Увидал издалека:
у окошка два соседа
(«Выдвиженец» и «Победа»),
два давнишние дружка.

— Вместе едем?
— Как всегда.
— Мне б на почту...
— Только скоро!
— Взять ли, просится, собкора
из «Свободного труда»?
— Пусть поедет...
— А чайку
на дорожку?
— Тоже можно.
Ну и — сразу к озерку,
мужики, на свежий воздух!

(«Чай не держим: ресторан!
Только водка, только вина»)

И несется по горам
председателя машина.
По горам, по долам,
где зеленая отава...

— Поворачивай направо,
Алексей! Конец делам.
И заботам заодно...
Тороплюсь не на пирушку,
а к Акимычу на ушку —
приглашал давным-давно.
И хочу, приняв позор,
с лодки удочку забросить...
Кто поверит!

До сих пор
не бывал Ряднов Егор
у воды, а скоро осень...
Не бывал ни на бору,
по грибы, ни на болоте...
Я, наверно, и умру
в воскресенье на работе.

Только, чую, не дадут
умереть мне циркуляры.
«Ты куда собрался, старый?» —
дружно этак заревут. —
Не к лицу тебе, Егор,
штучки этакие, дрючки.
Мы сейчас тебя под ручки
и с отчетом — *на ковер!*
Враз, поди-ка, оживешь!»

И вскочу я, брат, с постели
и — в правление.

«Даешь,—
крикну,— сводку за неделю!»

И в запале — рад не рад,—
подсыпая цифры-зерна,
я начну крутить, как жернов,
телефонный аппарат.

И в конце концов *смелю*
все проценты, все гектары...
Не желая тары-бары
разводить, рванусь к рулю.
«Как там, что там на току?»

Застоявшаяся «Нива»
понесет меня, счастлива,
первым делом за реку.

Ну, а там, как у людей,
слава богу, все как надо...

И — великая отрада —
не предвидится дождей.

Ох дожди, дожди, дожди...

И всегда они не к стати.
Утром, значит, председатель,
встав, в окошко погляди;
не пробились ли лучи
через тучи?..

Встань и ночью
и в барометр ноготочком,
извиняясь, постучи.
Постучи, как будто в дверь
канцелярии небесной:
дескать, что там, интересно,
вы решаете теперь?
И решаете ль?
Пора
отключить давно бы воду

и нормальную погоду
выдать людям «на-гора».
Ведь у них не швейный цех,
где порхают крепдешины...
Поливая прочих всех,
их-то надо посушить бы...

Так вот, непогодь кляня,
и встаешь ты, зол и мрачен.
А вдобавок нет ни дня,
чтоб ты не был «озадачен».
На ремонт машин, на сев
«озадачен» и на силос,
чтобы, значит, по росе,
а не за полдень косилось;
чтоб компосты — на пары,
а на всходы — химикаты;
чтобы всякие затраты
слишком не были щедры.

Ох уж эти мне цеу¹
там, где надо и не надо!
У меня гора их за год
набирается в дому.
Это, значит, только тех,
что в шкафах лежат на полках.
А еще ведь устных сколько,
телефонных — личных — сверх!

Иногда в седьмом часу
голос в трубке — сух и грозен...
Словно ты в своем колхозе
заблудился, как в лесу.

¹ Цеу — ценные указания (шуточное).

И к тебе, блукарю,
каждый рвется на подмогу,
чтобы вывести на дорогу,
устремленную в зарю.

Знают все дорогу ту,
окромя тебя, конечно...

И бежишь ты с возом, грешный,
вслед за ними весь в поту.
Воз скрипит и трет хомут,
и болят рубцы на холках...

Нет, не диво, что недолго
председатели живут.
Кто-то где-то только рот
раскрывает, он — решает!
Ведь когда семья большая,
значит, много и хлопот.

Здесь успеть, не проглядеть,
там с умом людей расставить
и для малых, и для старых,
выбрав время, порадеть.
А обидит кто — на крик
не сорваться, не напиться...

Я бы памятник в столице
председателям воздвиг!
Отдал им бы в наши дни
уваженья дань тем самым.
Ведь фундамент Продпрограммы,
если честно, то они!

Ты уж, брат, не осуди,
что пришла мне мысль такая.

...А не озеро ль мелькает
за деревьями, гляди?
Ну конечно же... А вон
кто-то с удочками к лодке
ковыляет... по походке
сам Акимыч. Точно, он!
Знает службу старикан:
дело-то к вечерней зорьке...
Вон и дом его на взгорке —
две березки по бокам.
Вон и банька — узнаю,
а за ней еще челночек...

Эх, пожить бы хоть денечек,
Алексей, в таком раю!

*5. Озеро.
Леса стена. Тишина*

В лодочке двое: в корме — сам Акимыч
(удочки сбоку), а рядом собкор.
Слово за словом — и вот уж меж ними
неторопливый течет разговор.

— Хочешь послушать моих побасёнок?
Ладно, коль так...

В довоенном году —
слушаешь?—

семь деревушек веселых
было вокруг озера — все на виду!

С лодки — особенно:

как на ладони
избы, овины... и леса стена.



Помнится:

как заиграют гармони
в пору, когда выставлялись сена,
как зазвенят, запорхают частушки
в дальней деревне и в ближней —
езде,

да понесутся навстречу друг дружке
по золотой по вечерней воде,—
право же, ёкнет, бывало, сердечко...
Потную сменишь рубашку,
огонь
не зажигая,— и марш на крылечко,
к старым березам, туда, где гармонь.
Словно не ты это, нынче с рассветом
встав (тишина в этот час на дворе),
всласть намахался косою по росе-то
и накупался в сенáх по жаре.

За́ руки девок — и пара на пару!
Дробь. И частушки. И — ой, не могу!
Но поддавала гармоника жару
девкам, сама изгибаясь в дугу!
Позже —
не только в разгар сенокоса —
тоже хватало работушки ей:
с нашего озера

каждую осень
чуть ли не взвод призывался парней.
Это, брат, тоже — скажу тебе смело —
в круге забот о пшенице да льне,
да молоке —

не последнее дело,
в чем довелось убедиться и мне.
Как? Очень просто...

Ведь я под винтовкой
был-находился, считай, две войны!

Бочками, брат, запасали, чанами
этого

в каждом хозяйстве

добра.

...Прохор Акимович сгреб сапогами
в груду плотву, устилавшую дно:
— Двигай-ка к берегу! Ушку сварганим!—
крикнул.— И чай вскипятим заодно.
Гости причалят к мосточку с уловом,
всплесками весел погасят зарю,
ну, а у нас и ушица готова
и ароматом шибает в ноздрю.
Не рассуждая, хватайся за ложку
и начинай с аппетитом в ладу...

Чисти-ка, парень, скорее рыбешку,
я той минутой костер разведу!

6. О получке

РАССКАЗ ПАЛ ПАЛЫЧА

Войдя в азарт, еще мои герои
рыбачили, забыв про бережок,
а у костра уже толкались трое —
прибавился Акимыча дружок,
Пал Палыч,

из соседнего района
колхозник вечный, бабки Тани брат...

В разгар рыболовецкого сезона —
не раньше и не позже — в аккурат —
сюда он приезжает каждым летом:
его не тянет больше никуда,
поскольку повидал, считает, света,
поколесил в военные года.

Случалось, вяз в грязище по колено,
но ни на шаг от пушечных колес...
Две «Славы» и еще медаль «За Вену»
на гимнастерке он домой принес.

А кроме, под пилоткою армейской,
принес он — замечалось по всему —
еще мечту о жизни деревенской,
в которой толком всё, всё по уму.

...Костер притих.

Уха кипела ровно
уже не на огне — на угольках.
Собкор сидел, прищурившись, на бревнах,
рядком Пал Палыч с ложкою в руках.
Он то котел пристраивал получше,
то угольки сгребал, взяв в руки прут...

Собкор к чему-то вспомнил о *получке*
и встрепенулся вдруг Пал Палыч тут:

— Получка — это что?

— Да в общем, ясно!

— Э-э, нет, пока не ясно ничего...

Ты скажешь: это очередь у кассы,
раздача денег — только и всего?

Да шум, да груда ведомостей разных,
да ручка на шпагате под рукой?..

Нет, брат ты мой!

Получка — это праздник
для всех для нас,

да праздник-то какой!

Не в честь святого, ясно,

не престольный,

как в старину *проклятую*, когда

устраивалось пышное застолье —

перед гостями
в три ряда еда!
Да пивечко из братины по кругу
(духмяный хмель да пена на усах),
да дедовские песни: «Ой, по лугу!»
на двух да трех согласных голосах.

Нет, с этим буржуазным пережитком
мы рассчитались, твердо говорю.
И никаких таких уже напитков
не варим...

Я и сам уж не варю
давным-давно.
Да и зачем, коль рядом
продмаг! Потянет если, повлечет —
беги и забирай себе, что надо,
и не всегда наличными расчет.
Порой и в долг ухватишь:
«До получки!
За мной не пропадет!»
И продавец,
в тетрадочку черкнув,
из ручек в ручки,
с поклоном... Знает выгоду, стервец!

Ну а к получке — и просить не надо:
(у продавца забота об одном)
он возведет такие баррикады
из деревянных ящиков с вином
в своем продмаге,
что не повернуться!
Едва войти — и то по одному.
Но не устанут, длинные, тянуться
в наш праздничек, с «бумажками»,
к нему!

А в тех бумажках, весело хрустящих,
получка — что! — и премия порой.

И значит, с баррикады целый ящик
иль двадцать поллитровочек — долой!
Куда его? Да к речке!..

Там и рыба,
и мягкая трава со всех сторон...

А главное, что ящик
без отрыва
от производства будет потреблен!

А впрочем, все гуляют без отрыва:
уж так оно в получку повелось.
Давай, мол, по стаканчику «на рыло» —
да и за дело... Но —
и в этом гвоздь! —

стаканчиком-то душу не обмоешь:
она в тот миг широкая, душа.

А дело, дело... это уж второе...
Его, мол, лучше делать не спеша.

А тут еще присловье вспомнит кто-то,
когда стаканчик голову вскружит:
мол, не волнуйтесь, граждане,
работа —
не волк и в лес от нас не убежит.
Ну, а тому, кто думает иначе,
добавят:

«Ну чего ты когти рвешь?
Ведь ты же не на барина ишачишь,
а на себя теперь, едрена вошь!
Па-ех-ха-ли!»

А что же в результате?
К примеру, сенокосная страда.
Погодка — во! Парторг и председатель
на «газике» своем туда, сюда...

Ну, а теперь сплошная, брат, везучка,
лафа сплошная нашим мужикам...
Двадцатого опять у нас получка,
коль не уедешь — все увидишь сам.

7. «Вишь какую взяли моду...»

РАССКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА
«ВЫДВИЖЕНЕЦ»

Сколько раз в былое времечко
и в прозе и в стихах
ты до неба превознесена, рыбацкая уха!

Я впервой тебя, духмяную, опробовав давно,
ко всему тому, что сказано, добавлю лишь одно:

не наваром лишь да свежестью
под чарочку винца
ты умеешь очаровывать рыбацкие сердца,

а еще и задушевною беседой у костра
от звезды вечерней на небе
до самого утра.

...Гости к берегу причалили почти что в темноте,
в час, когда звезда затеплилась, мигая, в высоте.

— Слава Прохору Акимычу! Натешились всласть!
Ох, а самая-то, самая, Акимыч, сорвалась!

Я уже подсачком целился,
она ж — туда, сюда...
Вот такую! Не верите? Не лещ — скворода!

— А меня в корме приметилá, приветилá плотва...
Я обычно на две удочки, а тут — едва, едва!

Зине верят в магазине:

все, что спросит — без помех...

И звенят потом в откормочном и шуточки, и смех.

И испуганно шарахаются в стороны бычки,
заглянувши в затуманенные Зинины зрачки.

Так и ждут: кого-то вилами случайно саданет.

А она — то воздух грабает, то мимо что-то льет.

А потом на сено валится:

«Поспать хоть дайте всласть!»—

с Шурой рядышком, с напарницей,

что раньше улеглась.

Через день какой-нить праздничек:

«В честь праздничка не грех!»

Через два — получка.

Стало быть, бутылочку на всех.

Но бутылочка — затравка лишь. Уже навеселе,
Зина с Шурой по две ставили и по три на столе.

Но не стану зря напраслину

на слабый пол плести:

брали все же чаще красное — оно у них в чести.

Но и красенькое тоже ведь, известно, не вода.

Веселились, вниз катились...

Докатились до суда!

Строг ли нет — не в этом дело —

наш товарищеский суд,

только Зину, только Шуру,

видим, ноги не несут.

Хоть веди обеих под руки:

«Стыдобушка-то, ой!»—

Зина бедная в отчаянии крутит головой.

Да и Шура тоже глазки опустила: ни словца...

А народищу-то, господи, сегодня у крыльца!

«Представлению бесплатному обрадовались, что ль?»—
злится Зина, очень ясно

ощущая в сердце боль.

Ну, а справа ей: «Достукалась!»—

как плетью по спине.

А вдогон: «Ремня хорошего тебе бы, сатане!»

«Вишь какую взяли моду,—

бабка Анна в стороне

проворчала.— Лопать водку с мужиками наравне!»

«Где тут думать о надоях, о телятах, о быках,
коль они по ферме ходят со стаканами в руках!»

«Поглядели б деды, прадеды на этих матерей —
устрашились бы, поди-ка...»

«Не поверили б скорей,

Чтобы девка, чтобы баба — из стакана? Допьяна?

Обалдели б наши прадеды, сказали б:

«Вот те на-а!»

И наверное, вопросик мы услышали б от них:

«Ну, а кто детей-то носит в ваше время? И каких?»

Зина с Шурой, говор этот слыша, как на эшафот
на крыльцо взошли. За ними

в клуб подался весь народ.

Ну, а там все честь по чести:

суд, в своих решеньях скор
(не впервой такое дело!), вынес строгий приговор:

чтоб они, как прежде, не пили проклятое вино,
Зине выговор положили и Шуре заодно.

А еще, чтобы не спутал их с другими кто-нибудь,
о суде послать заметочку решили в «Новый путь».

Ох, скажу тебе, краснели: не потерян вовсе стыд;
ох, скажу тебе, ревели Зинка с Шуркою — навзрыд!

«Не губите, мы же мужние!— просили.— И в годах!
Смилуйтесь, у нас же дочери-невесты в городах!
Ведь они позора этакого не перенесут!»

«Раньше надо было думать!»— отвечал им строгий суд.

— Совесть есть — так образумятся,—

сказал Ряднов Егор.—

А костер-то гаснет, кажется... Акимыч, где топор?

Развалил чурбак с размаху, крикнул:

— Скверные дела!

Если пьет хозяин дома — дом, считай, горит с угла.

Запила хозяйка, женщина и мать,— добавил он,—
то считай, что дом — пусть каменный —

горит со всех сторон.

8. На обе лопатки...

РАССКАЗ СОБКОРА ГАЗЕТЫ

Настала ночь. И скрылось все из глаз.
И лишь костер,

как будто бы на сцене
танцор,

был виден каждому сейчас.

...Собкор, лицом к огню, лежал на сене,
вдыхая тонкий запах чебреца
и донника.

Огонь, играя, резче
обозначал черты его лица.

И было видно: этот тихий вечер
был по душе ему; он подливал
ухи в эмалированное блюдо
и ел и как-то ловко забывал
про свой стакан, не тронутый покуда.

Зато не забывал он про блокнот:
записывал словцо и снова слушал,
и снова доставал перо... Но вот
и сам — нашло!—

решил излить он душу.

И начал так:

— За все нас «бьют» враги,
клеветают, поливая грязью в раже,
что мы и запрягаем без дуги.
и смазываем дегтем сапоги,
и водимся с нечистыми, и даже
не с той, с какой они, встаем ноги.
Но ни словца,

заметьте, ни словца

насчет,— он взял стакан,—

насчет винца,

с которым, как считают доктора,
невинная на первый взгляд игра,
ни умного, ни глупого ни разу
еще не доводила до добра.

Кой-кто, случалось видывать, с утра
хлебнуть успеет даже, до наряда.
«Да вам же, мужики, на трактора!»—
«Ну-к что ж...

У нас ведь тут не автострада.
У нас проселки. Ни тебе ГАИ,
ни знаков на столбах, ни светофоров.
В кабину угнезвился — и гони,
куда глаза глядят без разговоров».

Ну надобно и то еще сказать:
дорога в поле — где проехать можно.
А где и как — начальству не видать.
И ездят. Коли рожь случилась — рожью,
картошка — и картошке та же честь...

Да, кстати, раз уж речь зашла о чести:
у пьющих-то она едва ли есть,
а есть — так уж не в том, конечно, месте.
Она у них, простите, в животе,
а откровенней выразиться — в брюхе!
А мы им, боже мой, о красоте,
о нравственности, о каком-то *духе*...

Я слишком груб? Не отрицаю, груб.
Но не могу иначе: на-ки-пе-ло!
От человека дела ждем, а дело
у бедолаги валится из рук.
Его он пошевеливает чуть...

Да кое-как... Не делает, а лепит.
А приглядеться: дядя — плечи, грудь!
Что только бы не смог он, если б не пил!
Управился б на пашне за трюх!
В огонь, случись, рванулся б без оглядки.
Да только змий-то, слышно, и таких
кладет легонько на обе лопатки.

Один в «Восходе» в нынешнем году
в жару, вспотев изрядно — шла уборка,—
на «Ниве» подкатил с дружком к пруду,
добавил чуть — и бух в него с пригорка.
Прошла минута — нет его и нет.
«Ну чемпион!— дивится друг.— Ну шука!
Выныривай давай!»— дает совет.
А пруд молчит, а пруд в ответ ни звука.
«Да что он, в самом деле! Ну утюг!»—
шатаясь, встал и тоже, значит, в воду.
Глубь — смехота... И он нащупал с ходу
товарища и вытащил на луг.
«Иван, Иван!»— припав к его груди,
он бормотал, предчувствуя плохое.
И протрезвев вдруг, понял, что один
теперь он тут... Один, а было двое.

А в «Горке» трое... с трактором... с моста...
Навеселе катились с сенокоса...
Ну, а в «Заре» один возле куста
заснул... в траве... И тоже под колеса!
И там, и тут прибавилось сирот
и вдов... Зато убавилось рабсилы.
Все было раньше: голод, недород,
чума... Все было в матушке-России.
Но вот такого, чтоб спьяна за плуг
или в жару, во время сеновала,
не с квасом, а с бутылкою на луг —

Особо — молодых:

им принимать
от нас — и очень скоро! — эстафету.
И надо сделать все,
чтобы прервать
традицию коварнейшую эту,
когда ни слез, ни смеха —
без вина...

Как палка в колесе она
в пути нам!

Уверен: с *новым* обществом она,
с реальностью его

несовместима!
Тот, *новый* человек и тот народ
отринут с гневом зелье как отраву!

...Рассказывали как-то анекдот,
а впрочем, больше он похож на правду.

Так вот, один почтенный семьянин
вернулся как-то... нет, не из Европы,
из области соседней — ездил опыт
поперенять. И ясно, не один,
а вместе с делегацией...

Дней пять,
перенимая опыт, он трудился.
И не бывало, чтоб, пред тем как спать,
как гость, как делегат, он не напился.
Да и не диво: если не обед,
то ужин «в честь»...

И тосты, тосты, тосты!
И за правленье, и за сельсовет,
и за партком, конечно, пили гости;
за урожай; за то, чтоб рос надой;
за шефов; за рекордные привесы;

за НТР... Вино лилось рекой.
И гости, уползая на покой,
не смыслили порой уж ни бельмеса.

(Я как-то раз товарищей спросил:
«Зачем так *тостовать*, не понимаю?
И столько льстивых слов произносить
друг другу,

стаканы в руках сжимая?»

И вот чего услышал я в ответ:
«Ну до чего ж наивный ты, приятель!
Без тостов — это пьянка, понял, нет?
А с тостами — уже мероприятие!
А раз ОНО — никто не упрекнет:
все по закону, все по протоколу.
И не за свой, к тому ж добавлю, счет...
Недаром, словно муха к меду, льнет
народ к «мероприятию» такому).

...Но я отвлекся. Значит, мой герой.
домой вернулся. Жёнка, ясно, рада.
На стол всего наставила — горой —
и рюмку налила: решила — надо.
И ложку подала ему, и нож.
А он, сосредоточив взгляд на блюде,
сидит... «Ну что же ты не ешь, не пьешь?»—
«А тоста,— вдруг очнулся он —...не будет?»

9. Делу время...

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ЕГОРА РЯДНОВА

Дружно грохнули —
аж пламя поперхнулось над костром.
Озерочко прозвенело
белым лунным серебром.

Председатель из «Победы»
взял стакан — в улыбке рот:
— Ох, а я-то все гадаю,
почему никто не пьет.
Нужен тост!»
И выдал с ходу, руку вытянув на свет:
— За хорошую погоду,
возражений если нет!
— За Егора!—«Выдвиженец» перебил.—
За наш маяк!—
И к собкору: — У Егора
очень многое не так...
Мы его проходим школу.
Он для нас, как старший брат!

— В чем секрет его успехов,
я послушать был бы рад.

— Ты в главном прав, я думаю, собкор...—
так начал, чуть помедливши, Егор.—
Алкоголизм действительно ужасен!
Хмельной колхоз, как лошадь без подков.
Но я, собкор, с тобою не согласен,
когда во всем винишь ты мужиков.

И сами, дескать, гробятся, пьяны,
и бьют машины, сукины сыны,
не в добрый час хлебнув проклятой влаги...
Но почему б, собкор, на этот счет
не попытать и «дядю», что в сельмаги
товарец сей недобрый волочет?

Причем охотней, чем любой другой?
Согласен: потому что дорогой.
Все верно: для товарооборота...
И вот: «Повременил бы ты, Степан,»—
звоню,— страда... горячая работа!»

Ответ всегда один у живоглота:
«Но у меня, Егор, ведь тоже план!»

Так до каких, спрошу тебя я, пор
мы будем ставить мужику в укор,
что он-де в питиё не знает меру?
Ведь это ж все равно, что —
я к примеру —
кого-то поливать весь день водой,
а вечером судить под строгий окрик
за то, что внешний вид его плохой,
а главное за то, что весь он мокрый,
что нет на бедном ниточки сухой.

Ну ладно, мы не можем диктовать,
когда и чем сельмагу торговать.

Но мы вольны,

но мы имеем право

у змия не идти на поводу

и эту стоголовую отраву

не покупать, не пить —

хотя б в страду!

Я вижу, ты в затылке почесал,
не веришь: сказка, дескать... Я и сам
на этот счет имел в душе сомненья.

Но вспомнил раз в полночные часы,
как под Орлом, в начале наступленья,
с прорывом укрепленной полосы,
вдруг раздалась команда:

«Коммунисты,

вперед!»— и притяжение земли

преодолев, мы встали и пошли...

Воспоминанья эти, эти мысли
меня в конце концов и привели
к одной идее...

Утром встал чуть свет,
побрился и к парторгу в кабинет.
«Через неделю, максимум, уборка,
парторг...

Комбайны, ладно, на ходу.
Но надобно заслон поставить «горькой»,
чтоб *ничего*, что было в том году!
Один гостей встречал,

другой в гостях
рванул, как говорят, на радостях,
а третий, как завéдено, «с устатка»,
четвертый — «на троиx»...

И смотришь: нет,
как ты ни бьешься, должного порядка.
Чуть начали — глядишь, уже обед!

На небушке ни облачка. Жара!
Пшеница лавой бронзовой с бугра
течет; овса серебряные слитки —
войдешь — колотят чуть не по плечу,
а дело не идет!..

Подобной пытки —
убей меня! — я больше не хочу.

«Собрание, значит?» — догадался он.
«Да».

«А вопрос какой?»

«Сухой закон!»

«Для всех?»

«Пока для тех, кто с партбилетом».

Парторг слегка задумался:

«А срок?» —

«Пока не будет —

в нашей власти это —
последний с поля убран колосок!

Пока, как камень, не спадет с души
о том забота, так и запиши!
Доклад и речи — всё под этим знаком!
Мой главный тезис, если хочешь, вот:
страда, как бой. И даже как атака!
И значит, члены партии — вперед!

Особого геройства в этом нет,
согласен... Но зато авторитет
наш... понял?..

В общем, стоит загореться!
Ну, а другие — я не малонер —
подтянутся! Куда, скажи, им деться?
Нам важно показать другим пример».

И вот собрание. Трудненький вопрос.
Кой-кто сидит, гляжу, повесив нос.
Но большинство кивают: дескать, надо
решиться наконец на этот шаг.
А Николай Ярков из мехотряда
вдруг встал — сажень в плечах —
и бухнул так:

«Я выпить сам в компании люблю...
Но раз такое дело — потерплю!
Ну, а того, кто все-таки нарушит
наш — так я предлагаю — уговор,
судить, как на войне судили труса:
не утерпел, подвел — прими позор!
Я, в общем, за! — и поднял руку. — За!»

Другие, вижу, вскинули глаза
на Николая: вот, мол, заводило...
Однако же, один по одному
тяжелые свои — неловко было —
ручищи распрямили вслед ему.

Сдержали ль слово? — спросите вы. Да!
Впервой была мне радостью страда:
все делалось быстрее и веселее.
Притом повеселел и сам народ.
Аварий нет. Рабочий день длиннее.
Потери меньше. Выше намотот!

А главное — я это углядел —
проснулись стыд и совесть у людей.
В ответ на замечание краснеет
иной, отводит в сторону глаза.
Проснулась совесть,
ну а вместе с нею
включились, значит, где-то тормоза!

А женщины — какую ни спроси —
готовы на руках мужей носить.
«Мой, — докладали, — даже на рыбалку
успел... Сынок замолвил лишь словцо».
«А мой воды и дров нагрохал в баньку!»
«А мой отремонтировал крыльцо!
Видали, может? Да и палисад...
Я рада, а уж он так вот как рад!
Все не было у бедного момента:
то он хмелен опять, то нетверез...»

На целых восемь дней быстрее в то лето
с уборкою управился колхоз!
Да и собрал поболее. Так-то вот!
Ну, ясно, что на следующий год
мы закрепить решили этот опыт.
И вот, когда нагрянул сенокос,
а он не ждет, он пуще нас торопит,
мы вновь ребром поставили вопрос:
мол, делу время, а потехе час!

И люди поддержали снова нас.
И первыми опять — кто с партбилетом.
Ну, верно, не подвел и комсомол.
И вот вам результат:
колхоз тем летом
луга и все лужайки как подмел!
А до чего же сердцу дорога
картина: дождь в луга, а там стога.
И скирды, как эскадра у причала...
С чего я начал? — нужен вам ответ.
Да с этого и начал я, пожалуй,
и в этом, значит, первый мой «секрет».

10. Не мимо души

ВТОРОЙ РАССКАЗ ЕГОРА РЯДНОВА

Есть волшебная минута у вечернего костра,
не мгновению которая,
а вечности сестра.

Тишь кругом.
Ни листьев лепета, ни карканья ворон.
Лишь огонь шаманит что-то, шепчет что-то —
только он.

То он вдруг до неба вымахнет,
то скроется в дыму.

Наши взгляды зачарованно прикованы к нему.
То бутоном он покажется раскрытым — ах бутон!
То кустом еще невиданным — оранжевым кустом.

Как живут они красиво листья эти, лепестки!
Искры — тоже: в небо, в небо,
к звездам — наперегонки!

К звездам!

Если даже выпадет погаснуть на пути...

Отвести от этой сказки взгляд?

Попробуй отвести!

И глядим мы — волны жара, блики света

на щеках —

на огня работу,

мыслями витая в облаках.

...Но гипноз огня и света поослаб тотчас,

едва

стали блекнуть, стали в пепел исчезать

и в дым дрова.

Председатель из «Победы» вынул пачку сигарет,
прикурил от головешки.

«Значит, первый твой секрет
в этом? — глянул на Ряднова. —

Если так — то ты герой!

Ну, а в чем, нам интересно,

в чем же твой секрет *второй?*»

Второй?.. Ну как бы проще вам о том...

Пожалуй, так.

У каждого есть дом;

и в нем уют, он прибран и ухожен,

помыты сени, выметен чердак...

Дом радует ваш взгляд...

Но предположим,

что в доме, извините, кавардак.

Обутка — грудой грязною в углу,

прокисший суп в кастрюле на полу,

топор в шкафу, а ложки у порога,

и вывинтились ножки у стола...

Ну, а кровать — ни дать ни взять —
берлога —

в ней только что медведица спала.
И сквозняки кругом, и в крыше течь,
и, завалясь, дымит нещадно печь...

Едва через порог такого дома
шагнешь, как тут же хочется назад.
Бежать, бежать от этого содома,
бежать, бежать — куда глядят глаза!

Ну, а колхоз... Тут я бы так сказал:
колхоз — он тоже дом, а не вокзал.
А коли так, то первым делом надо
и в нем все поприбрать, все подмести
и самым древним способом порядок,
порядок в этом доме навести.

Халупы нежилые, что едва
стоят,— пораскатать — и на дрова,
чтобы они глазницами пустыми
не наводили на сердце тоску,
чтобы крапивы заросли густые
не растравляли душу мужику.
И старые дворы (пора давно!)
порушить, и овины заодно,
(былой остуды горькие приметы);
а пуще

возле церкви за селом
убрать комбайнов ржавые скелеты
и тракторов и сдать в металлолом.
А впрочем, он везде — и тут, и там —
куда ни глянь, в колхозах этот хлам.
В добавок где-нибудь по-за деревней,
не раз уже попавшее под дождь,
в убогой сараюшке удобренье —
какое — толком даже не поймешь.

Такие вот «пейзажики» — подряд! —
едва ль кого на дело вдохновят.
Зато уж душу намертво остудят,
как печку в заколоченном дому.
И очень долго безразличной будет
душа и равнодушной ко всему.
И я решился это взяв в расчет,
как в старину, собрать людей на сход.
Растолковав им все.

«Давайте, братцы, —
сказал, — ...нас не убудет от того —
начнем в колхозном доме прибираться.
Но каждый пусть начнет со своего!»

Поднялся шум. Вопрос... еще вопрос...
Штакетник где? А краски где? А тес?
А гвозди?..

«Раздобудем! — режу смело. —
Достанем! Слава богу, не война.
Министры, полагаю, знают дело,
а кто не знает — грош тому цена.
Соседи тоже гвозди не куют,
а где-то все же, слышно, достают.
Разведаем — и мы туда поедем...
Мне как-то посчастливилось гостить
в Прибалтике — республике соседней,
и вот что я
там разумом постиг...»

И сход притих. Все взгляды на меня.
И я продолжил, чуть повременя:
«Мы часто рассуждаем о культуре,
мы за нее горой... А в чем она
конкретно выражается? В натуре?
Культурна ль, скажем, наша сторона,
или еще конкретней — наш колхоз?»

И в чем его культура?— вот вопрос.

Ответ я —

это знаете теперь вы —
из опыта Прибалтики извлек:
в культуре *земледелия*, во-первых,
а во-вторых, *жилища* и *дорог*.
Да, да, и в наших северных местах
она стоит на этих трех китах,
культура!

Но сегодня на повестку,
под пунктом первым, ставлю я жилье!
...И стронуло у многих душу с места
такое заявление мое.

«Ставь, ставь, Егор!»— бабулечки и те,
гляжу, шумят: впервой о красоте
услышали слова — не о навозе,
не о гектарах и не о зерне.

«Мы,— говорят,— Егорушка, в колхозе
полвека. И сейчас не в стороне.

Поэтому они, твои слова,
касаются и нас: жилье сперва!

Приятно ведь, когда и дом с карнизом,
и садик, и другая благодать...

Всем хочется не только в телевизор —
в окошко эту радость увидеть.

Пусть будет и у нас, как у людей.

И ты уж, коль сказал, так порадей...

А то и впрямь... не избы, а *жилища!*

А улицы в распутицу? Беда!

А скотные дворы?..

Лишь в сапожищах
попасть весной да осенью туда».

Короче, поддержал меня народ.

И я немедля сделал поворот
с дороги, что вилась,

порой виляла
в две колени по нивам, по лугам,
но душу человека миновала,
лишь только липла грязью к сапогам.
И вот она, прямая как стрела,
дорога, через души пролегла.
И стал светлеть —

все окна нараспашку —
преображаться дом колхозный наш,
и отступил, на диво всем, вчерашний
унылый и расхристанный пейзаж.

Гнилое, деревянное — на слом
пошло; другое все — в металлолом.
И в том веселом праздничном размахе
народ творил порою чудеса.
И надевали яркие рубахи
дома и палисады-пояса.
Иной приобретало вид

село:

вместо крылец — веранды под стекло,
под шифер крыши... Диво ль?
Сбереженья
у всех, притом — не прежние гроши.
И никаких особых капложений,
коль не считать вложения души.
Ну, а душа у нашего народа —
ой горяча! — не мне вам говорить.

Так может полыхнуть... До небосвода!
Коли уметь ее расшевелить...
И мы сумели, мы расшевелили:
«Ага, сосед вот так в своем дому...
А я могу и лучше сделать!»
Или:
«А я не уступлю ни в чем ему!»

И делал лучше. И не уступал.
И красил дом в три краски. И копал
канавку, как и надо, вдоль фасада,
и лопухам свободы не давал...

Тот, у кого в своем доме порядок,
тот не снесет и вне его развал!
Мы долго этой вот взаимосвязи
не понимали: всё дворы, дворы...
А между тем и в новых даже вязли,
да, вязли даже в новых до поры.

А сколько, что ни день, других прорех:
насос из строя вышел, кормоцех...
Да и в полях нас здорово качало —
то, значит, в эту сторону, то в ту...
Культура земледелия

начало

берет с культуры подлинной в быту.

О клубах мы твердили много лет:
вот, мол, построим клубы — и привет!
И всем проблемам, связанным с культурой,
конец... Едва зажгутся огоньки
у клуба — Маня с Ваней, Нюра с Шурой
к нему и побегут вперегонки.
Играть на скрипках, петь, смотреть кино...
Сейчас наивно это и смешно...
И поняли другое вместе с тем мы,
немалый с той поры проделав путь,
что Дом культуры — это только стены,
в них еще душу надобно вдохнуть.
И мы,...

конечно, вместе с сельсоветом:
не мог стоять в сторонке сельсовет

от этих дел,—

встряхнули быт!

И в этом

второй, и может, главный мой «секрет»!

11. И воздадут тебе...

РАССКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «ПОБЕДЫ»

Все притихли. А собкор, поближе к свету
пододвинувшись проворно, той порой
подобрал у ног помятую газету:
«Ну-ка глянем, кто тут первый, кто второй?»

Он метнул на собеседников игривый,
с иронической прищурочкою взгляд:
«Интересно, что нам дарят нынче нивы
и о чем

сегодня

сводки говорят?

«Выдвиженец» потеснил-таки соседа?!

Молодец! Уже на пятом этаже!

Ну, а что «Победа» — глянем — что «Победа»?

На каком она сегодня рубеже?

С «Миром», кажется,

идет «Победа» вровень...»

...Изучивши сводку вдоль и поперек,
голова «Победы»,

хмурия брови,

повернулся с ней к собкору и изрек:

«Что нам портит жизнь — так это сводка!

Летом — чуть не по пять раз на дню —

отчитайся: где, да что, да...»—

«Вот как?!»—

«Непонятно?.. Слушай — объясню.

Значит, так:

на всякую работу
мерка есть, вернее — даже две.
Завершил — охота не охота —
обе приложи... И в голове
не держи,
а тут же, значит, в сводку
запиши... Ну, сколько, скажем, га
сжал, обмолотил?

К какому сроку?

Сколько сена смётано в стога?

Силоса уложено в траншеи?..

Сводка — в то же время и отчет!

Мало сделал —

будут мылить шею,
много — воздадут тебе почет!

Ну и... начинаем мы химичить,
в сводки из бригад уткнув носы:
«Силос в ямах? Можно увеличить!
В ямах! Не положишь на весы,
не проверишь...»

Но ведь и в бригадах —

а у нас в «Победе» пять бригад —
знают, как составить сводку надо,
чтоб не мимо премий и наград.

Тоже округляют, скажем прямо.

То и просто пишут с потолка...»—

«Но ведь это ж поздно или рано
скажется?»

«Конечно! Но пока

все довольны: «Ежели по нормам,—
говорят,— для каждой головы
в зиму заготовленного корма
хватит, с гаком даже, до травы».

Но проходит март —
еще до лета
ого-го — еще вокруг снега —
хватать-похватать,
а силоса уж нету
и как в прорву канули стога.
— Как же так?! Ведь вы же говорили!..—
стонут провода.

А мы в ответ:
— Значит, в январе перекормили.
Должного контроля, значит, нет.
Да и... это... знаете, какие
в январе стояли холода.
Что-нить нам подкинули б...
— Подкинем...

Выговор!—
грохочут провода.

Едем на бюро, а там короткий,
как известно, с нами разговор...

Ну, а кто подвел?
Да сводки, сводки,
показушных цифр кривой забор!
За год-то их сколько было надо
подписать. Попробуй сосчитай.
Дай за пятидневку, за декаду,
а потом за месяц сводку дай,
за квартал —
в сравнение с прошлым годом,
за год, демонстрируя подъем...

Мы порой за этим огородом,
вот те бог, себя не узнаём.—
Папки «дел», посмотришь — во!—
разбухли,

изогнулись полки стеллажа...

Мать она родная показухе,
сводка,

а для совести, как ржа.

Право слово, если глянуть в корень,
это так!..

Но в чем еще беда?

Из-за сводок этих мы

в конторе

днюем и ночуем иногда.

Агроном —

ему б на пробу почву

взять

хоть за околицей села,—

смотришь, волочет отчет на почту,
подшивает копии в дела.

Зоотехник —

этому б с кормами

помудрить, составить рацион,—

нет, и он с блокнотиком в кармане,
поглядишь, бежит на телефон.

В общем, скверно, если сводок много!

Это все равно — сравню опять —

что температуру у больного

по три раза в сутки измерять;

заносить в историю болезни,

столбиками, точно по часам,

но лекарств, что были бы полезны,

не давать: лечись, как хочешь, сам.

Сам!

А для того, не тратя нервы,

так сказать, *соленые* утри

и мобилизуй скорей резервы

внутренние — много их внутри!»

12. Костры на ветру

ТРЕТИЙ РАССКАЗ ЕГОРА РЯДНОВА

«Шутишь все, едят тя комары!—
не стерпел Ряднов.— А может, верно:
внутренние

 есть они, резервы,
в каждом,
 только дремлют до поры?

Не они ль,
 спрошу тебя, в войну
силы наши удесятирили?

Пишут: чудо миру мы явили!
Да, явили! Мы спасли страну!

Те, что защищали Сталинград,
рвы копали, в плуг себя впрягали,
сами даже не предполагали,
что у них в душе такие, брат,
силы...

Но когда пробил тот час—
этих сил хватило у народа
на четыре самых длинных года
и еще осталось прозапас!

Он еще отстроил города,
возродил и шахты, и заводы,
в плаванье отправил пароходы,
в дальние дороги поезда.

И, в мечтах о времени ином,
полуодичавшую от горя,
землю —

 на характере одном!—
распахал от моря и до моря.

И прекрасно! Пусть поговорят!
В мастерской, на ферме, на току,
в доме ли, под крышей ли сарая,
выслушайте, не перебивая,
то, что жить мешает мужику.

У любого — в этом-то и суть! —
в глубине души лежит такое,
что его не просто беспокоит —
не дает, случается, заснуть.
На трибуну —

нет, он не привык —
ни за что он с этим не полезет:
ловок при земле да при железе,
он, увы, не ловок на язык.

Он привык вот так вот,

на земле
сидя и мусоля папиросу,
ставить, так сказать, ребром вопросы,
самые больные в том числе.

Дать ему излиться до конца —
жизнь-то ведь, она не всё равнина! —
значит, разбудить в нем гражданина
и еще хозяина, творца!

Он не позабудет, как вчера
ты его понять старался мысли...
Это окрылит его, возвысит
и откроет душу для добра.

И проснутся совесть в ней и честь,
и вдобавок —

радостное к делу
отношенье...

В этом вот и есть
третий мой секрет, каким владею».

В полночь всполохами дальними, но бьющими в глаза
о своем существовании напомнила гроза.

Грома даже слышно не было, но где-то жил он, гром,
ставя на небе автографы разгневанным пером.

Все отчетливей, все явственней читались письма, а
потому как ночь над озером была темным-темна.

Наконец метнулась первая, все видели, стрела,
и гроза дохнула холодом и голос обрела.

Сразу гаркнула за озером, за далью полевой,
а потом, собравшись с силою, над самой головой.

Лепестки огня повяли. А мгновенье погоды,
стали бить по ним прицельно капли крупные дождя.
«По машинам!»— крикнул кто-то.
«Ну и дождь! Как из ведра!»
И, как испуганные птицы, все метнулись от костра.

Баня, лодка у причала заметались в свете фар.
«До свидания, Акимыч, лучший в мире уховар!»

«Прощайте!— макинтошем прикрываясь, он в ответ.—
Эк сверкает... Всполошились-то зачем? Вот-вот рассвет.
Да и дождик скоро кончится...»

«Дела, старик, дела!»
...И вонзилась с громом в озеро небесная стрела!

Содержание

Снова я дома

Петухова побудка	4
Хлеб победы...	7
Что тебе купить?	13
Возле дома, на скамейке	17
Воспоминания о весне 1947 года	20
Не забылось	22
По дороге из сельмага	24
Чем она прославилась	25
На улице-посаде	27
О любви к земле	29
О председателе	31
Завет	37
На полосе	39
Соседи	41
Добрый молодец	51
«Он был мужик. Служил в пехоте...»	52
О геройстве	53
Ветеран	55
Лесной ручей	61
Охота на лося	63
На медведя	66
Домой, на север	73
Сказал творец	76
Журавли	78
Весенний пал	79
Первая разлука	80

Жизнь	82
Век прожить	83
Разговор с вечностью	84
Конфликт	85
«Дядя Митя жил вольнее вольного...»	88
Конь Гая Калигулы	89
Память рода	93
Дмитрия полки	95
Память России	97
Костры на ветру. <i>Поэма</i>	99
1. Березы припадают к проводам	100
2. «Сам»	106
3. Совещание в районе	107
4. Раздумья в дороге	113
5. Озеро. Леса стена. Тишина	118
6. О получке. <i>Рассказ Пал Палыча</i>	122
7. «Вишь какую взяли моду...» <i>Рассказ председателя колхоза «Выдвиженец»</i>	127
8. На обе лопатки... <i>Рассказ собкора газеты</i>	132
9. Делу время... <i>Первый рассказ Егора Ряднова</i>	137
10. Не мимо души. <i>Второй рассказ Егора Ряднова</i>	143
11. И воздадут тебе... <i>Рассказ председателя «Победы»</i>	150
12. Костры на ветру. <i>Третий рассказ Егора Ряднова</i>	154
«В полночь...»	157

Сергей Васильевич Викулов

РАЗГОВОРЫ-РАЗГОВОРЫ
Стихотворения и поэма

Редактор **Б. Романов**
Художник **Н. Абакумов**
Художественный редактор **В. Покатов**
Технический редактор **Г. Куликова**
Корректор **Т. Воротникова**

ИБ № 3831

Сдано в набор 26.06.85. Подписано к печати 05.11.85.
А 13589. Формат 70×90^{1/32}. Гарнитура литер. Печать
офсет. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 5,85. Усл.
кр.-отт. 17,26. Уч.-изд. л. 6,54. Тираж 20 000 экз. За-
каз 2575. Цена 80 коп.

Издательство «Современник» Государственного комите-
та РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Госкомиздат РСФСР
Полиграфическое производственное объединение «Офсет» Управ-
ления издательств, полиграфии и книжной торговли Волгоград-
ского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6.

[30p]





Поэт Сергей Викулов выпустил свой первый сборник стихов в 1949 году в Вологде, где он учился в пединституте после возвращения с фронта. С тех пор в разных издательствах было издано около 30 книг его стихов, поэм и очерков.

Одна из этих книг («Плуг и борозда», 1972 г.) удостоена Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького.

Сергей Викулов — поэт лирико-эпического дарования. Его перу принадлежит более 10 поэм, среди которых пользующиеся наибольшей известностью поэмы глубокого социального, гражданского и патриотического звучания «Трудное счастье», «Окнами на зарю», «Против неба на земле», «Она не скажет», «Одна навек», «Письма из деревни».

С 1968 года Сергей Викулов — главный редактор журнала «Наш современник»; он ведет большую общественную работу, являясь секретарем правления СП РСФСР. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».